

ИСКАТЕЛЪ

ФАНТАСТИКА · ПРИКЛЮЧЕНИЯ

5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

1988





ИСКАТЕЛЬ 5

ФАНТАСТИКА · ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ



ВОКРУГ  **СВЕТА**
1988

В ВЫПУСКЕ:

Владимир СУХОМЛИНОВ

2

ВСЕГО ОДНА ТРОПА...

Повесть

Молодые фантасты

Н. М. БЕРКОВА

34

МАЛЕЕВСКИЕ ДЕБЮТЫ

Георгий ВИРЕН

35

ПУТЬ ЕДИНОРОГА

Фантастическая повесть

Александр ТАРАСЕНКО

90

ПИСЬМО УШЕЛЬЦА

Фантастический рассказ

Владислав ПЕТРОВ

102

ПОНИМАТЕЛЬ

Фантастический рассказ

ОСНОВАН В 1961 ГОДУ

№ 167

Выходит 6 раз в год. Распространяется только в розницу.

Владимир СУХОМЛИНОВ

ВСЕГО ОДНА ТРОПА...

ПОВЕСТЬ

Николаю Афанасьевичу Толстику и другим, чья юность и первая любовь остались там, в партизанских лесах...

Он сидел на пожухшей траве под сосной, спрятав руки поглубже в карманы ватника. Осень наступала сырая, промозглая. Хотелось в натопленную хату, согреться, выпить чаю на мяте и почитать любимую книгу о красных конниках. Или об испанском рыцаре и его лукавом оруженосце, о датском принце или об одиночестве Печорина.

Хотелось, чтобы украдкой вошла мама и, обняв его за плечи, тихо шепнула:

— Сынку, скоро уж петухам кричать. Ложись, сынку!

— Ничего, мама не волнуйтесь. Я еще почитаю. Спите себе спокойно...

Вздохнув, она бы ушла так же неслышно, чтобы не разбудить других детей. Ни одна половица не скрипнула бы. Каждую чувт ее ноги...

Антон поднял воротник, глубже закутался в ватник.

Впереди, на дальнем краю большой поляны, переходящей в болото, клубился предвечерний туман.

Летом здесь полным-полно ягод, а такого густого и мягкого мха не найти, пожалуй, нигде в округе. Со своими райкомовцами он не раз забредал сюда.

Это было совсем недавно. А сейчас?

Сейчас Антон Мороз не очень ясно представлял, как жить и действовать дальше, хотя, конечно, в глубине души все еще жила надежда на скорое возвращение командира. Не хотелось верить слухам о том, что где-то неподалеку от Медведовки трое неизвестных подорвали себя гранатами в короткой неравной стычке с немцами. Да, они втроем ушли в дальний рейд неделю назад — командир и два бойца. Но, может быть, на немецкую засаду нарвались не они?

Партизаны помрачнели, многие замкнулись. Это больше всего беспокоило Мороза.

Знаешь, братка, вспомнил Антон прощальные слова командира, в душе каждый затаил надежду, что война — это ненадолго, так, напасть, нарыв. Все надеются, что Красная Армия скоро отбросит немцев к границе, станет бить врага на его территории. Хорошо бы... Но, наверно, не завтра и не через месяц мы вернемся в свои дома. И далеко не все. А потому береги людей и

не лезь, не лезь на рожон... Это не паникерство, братка, не смотри на меня так...

Слова запали в память — командир, бывший донбасский шахтер, прошел гражданскую и знал людей.

Сумерки сгущались. Антон поднялся и направился в сторону отрядной стоянки.

Приближаясь к лагерю, Антон решил заглянуть к Максиму Орешко. Вот уж кто никогда не унывает! Посидишь рядом, послушаешь его балагурство — глядишь, полегчает...

— О, комиссар. Явился не запылелся! — по-свойски встретил Антона Максим, точно ожидал его прихода. — Садись, гостем будешь!

От работы, однако, Максим не отрывался. Он подбивал чьи-то сапоги.

Напротив Максима сидел сухошавый человек с лицом, густо заросшим щетиной. Он повернулся, и комиссар узнал Андрея Ходкевича — мужика смирного, неразговорчивого, работавшего до войны столяром.

— Ну что ты будешь делать, растуды ж твою растуды! — громко и весело выругался Максим. — Как специально лезут в болота и ломачину! Работу мне, гляди ты, подкидывают. А то других делов нету, растуды твою! Надо, комиссар, декрет на них, что ли, какой выпустить?! «Об отношении к сапогам и валенкам в условиях военного времени». А, комиссар? Скажи, идейное предложение?

Максим рассмеялся и стукнул Ходкевича по колену:

— Ладно, не журись, Андрейка! Справлю тебе сапоги! Будут, растуды твою, первый сорт, люкс с присыпкой!

Ходкевич только кхыкнул.

Антон, освоившись в полумраке, заметил в углу землянки на нарах отрядную медсестру и повариху Зосю Ярмолич. Она сидела, поджав под себя ноги, укрывшись широкой — видно, Максимовой — телогрейкой.

— Что это ты, Максим Платонович, при девчонке-то разошелся? — осуждающе спросил Мороз.

— Девчонка! — хохотнул Максим. — Да она, поди, лучше нашего чешет! А, Зоська?

Девушка молчала.

— Молчанье — знак согласия, — со смешком проговорил Максим, подмигивая Антону. — А что это ты, комиссар, понурый такой? Думаешь, погиб Лучинец? Не-е... Не такой он человек. Там пройдет, где никто не проходит. Из любого силка вырвется... Нет, не наши погибли, другие. Плётки, бабы плётки! ¹

Максим повертел в руках сапог.

— Во работа! — сказал с восхищением. — Носить не изнашивать. Век меня, Андрей, помнить будешь... Да ты садись, комиссар. В ногах правды нету. Сейчас чаю сообразим. Это мы мигом! Как говорится, Фигар тут, Фигар там. Зоська, ну-ка, давай! — Орешко рассмеялся. — Другого зелья комиссар не признает.

Ходкевич, обув починенный сапог, прошелся по землянке.

¹ Плётки (бел.) — сплетни, пересуды.

— Да, — кашлянул. — Да, можешь...

И снова сел на свое место. Антон устроился на невысокой чурке. Зося бесшумно шмыгнула из землянки — только дверь скрипнула, да холодком дохнуло.

— Пора за провизией по вёскам¹ пройтись, — сказал Мороз, — еще два-три дня — и хоть кору вари... Бульбы мешка три осталось... С Марфы, черт ее дери, тетка Полина в день каких-то полведра нацеживает. Заодно, может, и о Лучинце что узнаем.

— Оно, конечно, так, — поддержал комиссара Максим. — Узнать надо. И с голодухи, конечно, не очень-то повоюешь. Пусть товарищи колхозные крестьяне пошарят по сусекам. Немцу-то небось подать сдают.

— Зачем брехать? Кто сдает, а кто и нет, — глухо проронил Ходкевич. — В Дерковичах вон две хаты с людьми сожгли. Это тебе не просто так...

— А сорок две остались. Знаю я это куркулье! Подкулачник на подкулачнике, — огрызнулся Орешко. — Жить всякому хочется!

— И тем, что живьем сгорели, тоже хотелось. Что ж ты плетешь? Да мы... за каждую хату спаленную отомстить должны! — Антон поднялся. — А куркулье не куркулье — кто считал? Старики там наши да матери, да дети...

— Ладно, Антон, чего ты? — примирительно произнес Максим. — Ну сморозил дурноту. Так не со зла ж!

Антон махнул рукой:

— Тебе б только тары-бары...

Орешко вдруг снова рассмеялся:

— Ох, Антон, матереешь. На глазах матереешь! А я тебя все за этого, как его, тимуровца держу... Помнишь, застукал вас?.. Слышь, Андрей... Иду себе, значит, тихо, погодой дышу, а тут, гляжу, хлопцы с молотком у забора. Ну, думаю, растуды их, калитку заколачивает, чтоб, значит, над хозяином посмеяться. Наверное, думаю, соли он кому-то запустил в одно место, чтоб в сад за яблоками не лазили... Подобрался втихаря, как свистну — всех что ветром сдуло. Один Антон стоит как вкопанный, кулаки сжал — я тебе дам. Мы, говорит, звезды красные вешаем на калитку геройских бойцов гражданской войны. До свята,² говорит, Октября. Да-а... И когда это было? Наверное, в тридцать пятом. Сколько тебе тогда, Антон, стукнуло?

— Пятнадцать.

— Ну вот... Я тебя на все двенадцать годков старше... А теперь нате вам — тары-бары.

В землянку вошла Зося.

— Чай поспел, — выдохнула как-то радостно. — Давайте кружки, пока не остыл...

В свете тускловатой керосиновой лампы было видно, как курится разливаемый в кружки кипяток. Запахло домом.

— Аромат-то какой! — восхитился Максим. — Подмешала небось что?

¹ Вёска (бел.) — деревня, село.

² Свята (бел.) — праздник.

— Лист смородиновый. Мама так заваривала.

Чай пили молча, обжигаясь о края кружек. Ходкевич несколько раз как бы невзначай постукивал починенным сапогом о деревянный настил, но ничего не говорил. Антон украдкой поглядывал на Зосю, на ее красивое, чуть цыганское лицо, на выбившуюся из-под платка прядь темных волос. Зося насторожилась, ниже опустив голову, и он понял, что девушка заметила его взгляд, и постарался больше не смотреть на нее.

— Красотища-красота! — Максим дружески толкнул плечом Ходкевича. — Сейчас бы бульбочки со свеженьким укропчиком да поросятинки. Ну и стакашик запотелый, а, Иваныч?

— Мели, Емеля... Тут хоть бы сала ковалочек, — буркнул Ходкевич.

— Ладно, братцы, — поднялся Антон. — Спасибо за чай. Теперь по постам пройдуся.

— Да посиди! Никуда не денутся посты эти! А Зоська нам, может, романсу какую споет. Посиди! — не отпускал комиссара Максим. Зося, видно, хотела что-то сказать, но не решилась.

— Нет, Максим. Надо идти.

И он вышел, не дожидаясь, что ответит неугомонный Максим.

На воздухе, сразу после землянки — душноватой, пахнущей землей и потом — было зябко. Беззвездная ночь опустилась на лес, зыбкими белесыми полосками светились только стволы редких берез.

Комиссар уже успел изучить окрестности, мог едва ли не вслепую обойти все три поста, тем более что располагались они рядом друг с другом — с остальных сторон партизанскую стоянку окружали болота. Через топи к занятому врагом райцентру вела всего одна, мало кому известная тропа.

Антону почему-то припомнилась, как и раньше, там, у болота, книга о красных конниках, неизвестно когда и каким образом попавшая в их дом, книга без обложки, первых десяти страниц и оглавления. Он попытался объяснить себе, почему вспоминает о ней именно сегодня, но не нашел ответа. В книге рассказывалось о таких же молодых людях, каким сейчас был он, и о войне, правда, о другой — далекой, сабельной. Или все это только казалось?

...Тук-тук, тук-тук... Скачут по выжженной степи конники. Буденовки, вылинявшие гимнастерки, пятна пота на спинах. Жарко, сушь сковала губы, горячий ветер ерошит волосы. Маленький отряд скачет в город у моря — за доктором. В тихом сельце на руках у товарища оставили девушку с раной навывлет. Вместе с ним она ходила в атаки и умирает рядом с тем, кого любит. Тук-тук, тук-тук, тук-тук... Скачут, скачут всадники...

Антон не заметил, как подошел к первому посту.

— Стой! Кто идет? Пароль?

— Нёман! — машинально отозвался Мороз. — Как дела, товарищи?

— Да какие дела, комиссар? Дождь да стынь, стынь да дождь, — сказал один.

— Пришла осень — в хату просим, — заметил второй.

— Глядите, может, Лучинец заявится, — сказал комиссар. — А то плетут всякое. Черт-те что плетут.

Чуть помолчав, первый постовой спросил:

— А что, Москва держится? Слыхали, в кольце. И Сталин, говорят, уехал. Или это тоже из бабской почты?

— Держится! — уверенно сказал Мороз. — И нам велит не раскисать...

После проверки постов Антон пришел в свою землянку, зажег керосиновую лампу и сел за самодельный, чуть кособокий стол, который тетка Полина накрыла старенькой, но еще крепкой льняной скатертью.

Вспоминая события минувшего дня, Антон все больше убеждался: надо собирать отрядный сход, чтобы сказать людям правду обо всем.

Он встал и подошел к нарам. Из-под подушки, сшитой из мешковины и набитой мягкой травой — снова забота все той же тетки Полины, — достал общую тетрадь в коричневой обложке. Вот ценность так ценность!

Он усмехнулся. Поди Расскажи кому, что неосознанно прихватил ее с собой в лес. Тогда, вечером двадцать девятого июня, он жег в райкомовском дворе документы. Подскочил кто-то из партийцев: «Уходи, Антон! Немцы на окраине. Уходи, в лесу встретимся!»

Плеснув напоследок в пламя костра полкружки керосина, Антон стремглав побежал в свой кабинет и вытащил из ящиков письменного стола райкомовскую печать, две чистых общих тетради и несколько карандашей. Сквозь распахнутые окна донолся гул танков...

Снова сев за стол, Антон раскрыл тетрадь на чистой странице, достал из кармана ватника карандаш, заточил перочинным ножом и вывел строчку: ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА СОБРАНИИ 28 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА.

Написав этот по-казенному звучащий заголовок, он отметил про себя: вот, черт его дери, в другой ситуации можно было бы подумать, что речь идет о самом что ни есть обычном собрании в канун дня рождения комсомола. Не одно собрание посетил Антон за свою не столь уж длинную комсомольскую биографию, особенно после того, как минувшей весной его избрали первым секретарем райкома комсомола.

Он не любил выступать по бумажке, хотя один опытный райкомовский инструктор и говорил ему, что «первому лицу» нужно готовить к выступлениям хотя бы тезисы, чтоб не сморозить какой-нибудь ерунды. Антон так и не успел осознать себя «первым лицом» и продолжал шпарить с трибун и на встречах с комсомольцами то, что думал. Раза два его, правда, вызывали в обком и ругали за верхоглядство и заигрывание с массами, но в конце концов прощали. Прикрывал Антона и авторитет Лучинца.

Но завтра все-таки не простой сход. Антон будет и за себя, и за командира. Конечно, у него и в мыслях не было сбиваться на длинную речь. Не до того — не то время, да и болтовня только раздражает и расхолаживает. Просто он решил в самом сжатом виде сформулировать на бумаге две-три главных мысли.

После раздумья Антон написал новую строку: ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.

Есть ли что-то сильнее и значительнее этих слов? Они дошли сюда, в глухомань, в болотистый белорусский лес, из самой Москвы и тайно повторялись, твердились людьми, как клятва, как символ надежды и веры. С них и надо начать!

Но тут же Антон подумал, что слова эти уже произнесены, уже успели стать частью сознания людей, их потаенной, глубоко вовнутрь запрятанной струной. Имеет ли он право играть на ней, касаться того, что и так неслышимо звучит в каждом? Не принизит ли он тем самым смысл этих слов? Не сделает ли расхожим то, что принадлежит не ему, а всем?..

Антон вспомнил одну ночную беседу с Лучинцом. Думая о чем-то своем, тот сказал тогда с горечью: «Знаешь, Антон, если кто и погубит нас, так это попугай. Твердят за кем-то правильные слова, не понимая ни смысла, ни ответственности. Трумбуют, тужатся, надуваются, а народ все это видит, перестает и другим доверять...»

Не выступит ли он в роли такого попугая?

Антон провел несколько жирных линий по написанной строке и, подумав, вывел слова:

МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА. МЕТРО.

Потом задумался и рядышком поставил:

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.

Еще недавно, до 22 июня, слова эти произносили с нескрываемым восторгом (смотри ты, подземные дворцы и поезда бегают) и с радостным смехом (а Орлова-то плывет, отфыркивается, глаза выпучила, умора и только! А этот, с бочкой: «Потому что без воды и не туды и не сюды»? С ума сойти можно!..).

Все это происходило где-то очень далеко, за тридевять земель, на другом конце света. А сейчас Москва будто приблизилась.

Антон задумался, потом вывел в тетради одно короткое слово: **СЛУХИ.**

Толки о захвате Москвы, пересуды о командире... Хотя прямо не утверждалось, что Лучинец погиб, однако от землянки к землянке потянулась незримая паутина сомнений: после падения Москвы и гибели командира недолго протянет и отряд...

Он был удивительный, Василий Лукич! Антон постоянно что-то открывал в нем, порой неожиданное, пугающее.

Однажды поздно вечером, после возвращения Лучинца из областного центра, он позвал Антона к себе и с раздражением, не свойственным ему, и с какой-то болью спросил: «Ты знаешь, Антон, хромого Ивана с мельницы? Знаешь... Так вот донос на него поступил. Дескать, шпион... Ото ж так!.. Из самой, что ни есть бедноты, воевал у Пархоменко, трудяга, скромница, ну, затворник — так жену его с детьми беляки убили — и... шпион. Я сказал там, что билет партийный на стол выложу, а его в обиду не дам... Эх, господи-господи!.. Неужели непонятно, что человеку полезнее верить, чем подозревать его в смертных грехах? Если подозревать, можно воспитать страх и на страхе столько наворочать, даже нужного. Но когда-нибудь страх уйдет, и тогда может разрушиться все. Перво-наперво вера. Доверять человеку трудно, брат, но полезнее...»

Боже, ну что за дело Лучинцу до какого-то хромого Ивана, подумал тогда в первую минуту Антон. Может, он и впрямь

того. В тихом омуте черти водятся... Но потом, размышляя, решил: потому, видно, и уважают Лучинца люди, что в массе он умеет различить каждого.

И сейчас Антон не мог избавиться от подозрения, что криво-толчки о гибели Лучинца могут быть и намеренным вражеским злоречием, подсказанным предателями, знающими цену его авторитету. Об этом тоже надо сказать завтра.

Есть и еще одна штука, очень важная. Антон старательно, крупными буквами, стоящими словно бы поодиночке, вывел: **ДИСЦИПЛИНА.**

Конечно, лучше избежать общих слов и призывов соблюдать порядок. Не надо прикидываться, что уж ему-то все хорошо известно. Как прокормиться, откуда брать патроны, взрывчатку, где обзавестись теплой одеждой и валенками, как сохранить живой приблудившую корову Марфу? Нет, нужно говорить без утайки. Так, теперь, кажется, все.

Неожиданно навалилась усталость, и вновь с острой тоской он почувствовал, как сильно не хватает ему Василия Лукича, его уверенности, спокойствия, размеренного, чуть глуховатого говорка с мягким «г». И тут Антон опять, точно наяву, увидел перед глазами выжженную солнцем степь.

Тук-тук, тук-тук... Подгоняя коней и ободряя друг друга криками, скачут красные всадники к городу у моря. Клубами взмывается горячая пыль и медленно оседает. Заржав, одна лошадь вдруг падает на полном скаку, сбрасывает всадника. Не сразу осаждают разгоряченных коней его товарищи. Бьется в агонии загнанная лошадь. Склонившись над ней, осиротевший боец утирает с лица пот.

Антон проснулся от легкого прикосновения:

— Мама?

— Это, товарищ комиссар, я, Эрнст.

— Эрнст?.. Почему? — Мороз различил возле себя шуплую фигуру подростка. — А я тебя послезавтра жду.

— Да вот, — виновато сказал мальчик.

— Садись-садись... С отцом что-нибудь?

— Да нет, служит фюреру.

— Лучинец?

— Нет, Антон Иванович. Еще неясно. Одно удалось узнать. Двое были в ватниках, а один в красноармейской гимнастерке. И будто бы все трое без документов... Немцы их где-то закопали — и все... Отец еще просил передать, что немцы захватили группу наших, пробивавшихся к линии фронта. Их заперли в бывшем продуктовом складе на улице Чкалова. Знаете, прямо у обрыва? Двенадцать человек. Продержат еще, наверное, сутки. Может, попробуете освободить?.. Склад ведь у реки, рядом лес... Вот и все. Отец вам привет передает...

Мальчик шмыгнул носом, сказал с грустью:

— Тяжко ему, Антон Иванович. Ночью спит плохо, все ворочается, крутится с боку на бок, а то и стонет... Мать вся высохла. Тихая-тихая стала... Люди-то глазами, что косой косят. Со мной никто знаться не хочет. Этим... гаденышем называют... Я одному, Броньке-конопату, знаете, не сдержался, в ухо заехал... Но я-то что — отца жалко.

Антон положил мальчишке руку на плечо.

— Терпеть надо, Эрнст. Нам — здесь, вам — там. Нам без вас гибель. Понимаешь?

— Понимаю, Антон Иванович. Только никогда не думал, что притворяться так трудно. Вы, может, смеяться будете, но я почему-то про артистов вспомнил. Ну и работа!

Мороз улыбнулся:

— Ну артисты это совсем другое дело. Снял грим, парик — и все, свободен...

— Все равно не по мне это — переделываться. Я думаю, после войны все по-другому будет. Мы всех предателей и переделшей соберем, выслем куда-нибудь, а оставим только честных. Никогда больше обмана не будет и подлости.

— Только сначала победить надо. А как победить, если носом шмыгаешь?

— Да это я промок, пока добрался, — смущаясь, сказал Эрнст. — У черного распадка в болото влетел.

— Давай раздевайся, приляг, пока одежка подсохнет.

— Нет, Антон Иванович, пойду. Ничего со мной не сделается.

Мороз потрепал мальчишку за паты.

— Зарос, однако. В школе ходил бы сейчас под Котовского... Ладно, решил идти — иди. Тебе виднее. Пойдем, провожу.

Выйдя из землянки, попали под дождь, моросивший уже несколько часов. До тайной тропы через топь шли молча. Рука Антона лежала на плече тринадцатилетнего связного.

Он чувствовал себя старым, видевшим в жизни многое, и ему захотелось ободрить Эрнста, но он сдержал свой порыв. Прощаясь, пожелал пареньку счастливой дороги и крепко, как взрослому, пожал руку.

— Да я тут, Антон Иванович, хоть с завязанными глазами. Честное слово!

— Ага, — улыбнулся Антон. — Только у черного распадка не зевай.

После ухода комиссара засобирались и Ходкевич.

— Пора на нары эти клятые лезть. А ваше дело молодое...

Зося стала уговаривать его:

— Дядька Андрей, еще рано. Куда спешить? Посидим еще, а, дядька Андрей?

Ходкевич, однако, поднялся:

— Нет, ребята, пойду. Притомился что-то. В сон клонит...

Когда остались вдвоем, Максим подошел к Зосе, обнял ее. Зося вырвалась из его рук.

— Не надо, Максим, прошу тебя. Не надо. Давай просто поговорим.

— Одно другому не мешает, — Максим попытался снова привлечь ее к себе.

— Я уйду сейчас. Возьму и уйду. И зачем я осталась? Ведь не хотела, — Зося шагнула к двери.

Когда взялась рукой за скобу, услышала:

— Подожди, Зося. Не уходи.

Максим уже мягче, без обычной полуснисходительной интонации, повторил:

— Не уходи, Зося. Я не буду...

Она вернулась, присела на скамью у стола. Максим устроился по другую его сторону на одной из чурок. Какое-то время молчали. Зося ослабила платок на голове, высвободила тугую косу. Максим тер кулаком щетину.

— Скажи, Зося, ты давно с теткой Полиной живешь?

— Как мама умерла, мы с Иванной к ней и перебрались. — Зося вздохнула.

— А правду говорят, что мать твоя от любви умерла? Что недолго отца пережила?

Зося, помолчав, сказала:

— Не знаю... Наверное... Это семь лет назад случилось. Мы с Иванной еще девочками были. Отец в январе в прорубь провалился. Пока домой добрался, закоченел. Мама его греть, растирать. Не помогло, слег. В больницу в область отвезти хотели. Не поеду, твердит, сам оклемаюсь. Экое дело — в проруби искупался... Сначала вроде на поправку пошло, а потом... В пять дней сгорел. Мама молчаливою стала, в себя ушла. Все по головкам нас гладила, жалела. А сама молчит и молчит... Однажды осенью позвала рано утром Иванну, она ведь старшая. Доченька, говорит, дрэнна¹ мне, сердце давит. Принеси водички... Иванна стрелою в сени, возвращается... И как закричит!.. Похоронили маму рядом с батькой. Так два холмика и стоят один возле другого. Над маминым — крест, над батькиным — звездочка. А сейчас и не знаю — гады эти, может, звезды уж пошибали. Тетка Полина сразу после маминых похорон забрала нас с сестрою. Одна она из родни осталась. На вид ворчливая, а душа как рана — все чует...

— Моя тоже умерла в одночасье, — сказал Максим после молчания. — Она звеньевой была в колхозе имени Буденного. Буряка сдавала чуть не за целую бригаду. В тридцать девятом, летом, в Москву направили на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Воротилась с грамотой, красивым отрезом на платье, панбархат, что ли, такая, мягкая ткань, вишневого цвета. Фотографию привезла — она в группе стахановцев, а в центре сам Калинин. Ну и, конечно, баек всяких воз и маленькую тележку... Знакомые валом валили. Она ведь норовом была заводная, веселая — пошутит, так от всей души. Это отец — молчун, ему б только подметки прибивать, и чтоб никто не трогал. Да он и старше матери на пятнадцать лет. Потому, видно, и сил у старого хватило только меня одного сделать. Хотя, знаешь, жили они без ругани, правда, каждый сам по себе. У мамы все работа в поле да в хате, а батька — так из того и в праздник слова не вытянешь... Месяца через три после Москвы, в октябре, мать занемогла. Погода стояла дурная. Сначала дожди поливали, потом заморозки ударили. Буряк в земле закис. А она — грамоту, что ли, отработать хотела — не вылазила с поля... Сломалась. Хорошо помню, что двадцатого октября мать не вышла на работу. И отец дома остался — горела она вся. Ну а я что — в исполком. Мы как раз недавно машину получили, «эмку», я должен был Лучинца в область везти. Под вечер вернулись. Тут прибегает сосед — Иван Хромой. Беда, говорит,

¹ Д р э н н а (бел.) — плохо, дурно.

Максим, с мамкой плохо. Бежим!.. Какое там! Она к тому часу уже кончилась... Помню, стоят на крыльце доктор, маленький такой, толстенный, с черным саквояжем в руке, и отец тут же — сгорбленный, одна нога в сапоге, другая почему-то в портянке съехавшей... Доктор на меня накинулся — что ж вы мать-то свою не уберегли, с двусторонним воспалением легких на работу гоняли? Я его чуть не пришиб — такая злость взяла. А тут еще отец стоит, слезы растирает, трясется. Рванул я в хату. Но с того света как вытащишь, даже если и мать?

— Эх, все под богом ходим, как говорит тетка Полина.

Максим усмехнулся:

— Слышал бы тебя комиссар — в религиозности обвинил,

— Не обвинил бы. Он справедливый. Весной меня в комсомол принимали, кто-то спросил: «Зачем вступаешь?» Я: «Чтоб друзей было больше». Все смеяться, потом высказываться: надо, товарищи, отложить прием Ярмолич. Зашумели, заголосили: да, не созрела идейно, отложим. Мороз молчал, потом говорит: «У меня другое мнение. Работает Зося на фельдшерском пункте хорошо, на добро к больным не скупится. Говорят, что поет и стихи в самодеятельности читает. Чувствуется, и газеты знает, радио слушает. А что друзей новых хочет занять в союзе нашем, так чем плохо? И не прячется за правильные слова...» Проголосовали. Три человека только воздержались, остальные «за».

— Не знаю, — сказал Максим. — Странный он. Жила их семья через три дома от нас. Большая семья. Остальные его братья, а их — сколько же? — всего шестеро, как на подбор. Крепкие мужики, не зря пошли по военной линии. А Антон, сколько его помню, все носом хлопает да книжки таскает. Вот только пацанва вокруг него вилась. «Кузнечиком» звали. Чуть что — «кузнечик сказал». И чем брал?..

Зося вздохнула и встала с места.

— Пора уже. Пойду я.

Антон поднялся задолго до рассвета, вышел из землянки. Он всегда плохо переносил осеннюю сырость, и сейчас першило в горле, слезились глаза. Втайне он завидовал тем, кому холод и зной не страшны. Вон Максим — телогрейка нараспашку, под ней рубашка на голое тело.

Со стороны кухни донесся звон посуды. Антон как раз и собирался повидать тетку Полину.

Повариха чистила котел. Удивительно, думал про себя Антон, как за эти тревожные дни и недели после начала войны у всех, особенно у женщин, обострилась крестьянская привычка вставать ни свет ни заря. И руки сами тянулись к работе, словно за нею можно было хоть ненадолго забыть о том, что происходит вокруг.

Рядом с теткой Полиной сидела Зося и чистила картошку. Уловив взгляд Антона, с любованием посмотрела на Зося и тетка Полина и не удержалась, выразительным жестом показала — хороша-то как дивчина!

— Эх, Антон, — сказала вдруг тетка Полина, — вспоминаю вот мужа, царство ему небесное! Говорил он мне: придет, Поля,

время, власть Советская памятник красивый в Москве рядом с Красной площадью поставит. И напишут на нем: «Нашим бабам...» Смеялся, конечно... Но меня, Антон, он берег, ох, берег...

— Надпись, может, и не самая подходящая, но правильная. Маму вспоминаю — как только все успевает?

— И не жалуется! — подхватила тетка Полина. — Тянет свое и тянет.

— Марфа-то как? — спросил Антон. — Все хворает?

— Да как? Сегодня, слава богу, лучше. А вчера еще тяжелая была, вялая, есть не ест, бедняжка, смотрит жалостно... Мы уж и сараюшко утеплили, и вымя ей теплой водицей согрели. Может, дай бог, поправится. Без молочка-то никак. И разве только без молочка? Все, Антон, на исходе. Надо посылать наших по вёскам. Люди поделятся. Мы ж для них что власть Советская. Иначе с голоду попухнем.

— Знаю, — сказал Мороз. — Давай, тетка Полина, вечером обмозгуем, куда и за чем идти. Дело-то непростое. Ты подумай, что нам надо, без чего никак не обойтись.

— Добра, добра, Антон. Подумаю.

— Спасибо, тетка Полина. Через полчаса сход.

— Придем! Куда денемся!? — задорно проговорила тетка Полина, и лукавая улыбка появилась на морщинистом лице. — А ну-ка затяни, девка, мою любимую!

Зоя вскинула голову, взглянула с удивлением на тетку Полину, но подчинилась просьбе:

Отчая земелька —
Лес, поля, болота,
Вся залита кровью,
И могил без счета.

Отчая земелька —
Ей еще сражаться...
В бой идет, кто хочет
Белорусом зваться.

Отчая земелька
Хочет жить раздольно...
Есть ли что милее
Нам отчизны вольной?

— Да, хорошая песня! — сдержанно похвалил Антон. — Правду Максим говорит — надо концерт устроить.

— А то как же! — только и сказала повариха...

Максима Антон застал у его землянки. Низко склонившись над металлическим брусом, тот ловко выпрямлял сапожные гвозди. Каждый гвоздь был на учете — в лесу скобяной лавки не сыщешь.

На приветствие комиссара он поднял голову.

— Видишь, — сказал, усмехаясь, — начальство встречаем в согбенном виде. Как положено.

— Мели, Емеля — язык без костей. Я к тебе не за байками пришел.

— Давай, выкладывай.

Мороз рассказал Максиму все, что знал о военнопленных.

— Пойдешь в разведку. С собой возьми Ходкевича. Только будьте осторожнее. Разведайте, что к чему, и обратно.

— Вот это дело для мужиков! — воскликнул, потирая руки, Орешко. — Сколько можно торчать в берлогах? Зима впереди. Еще нагуляем жиру!..

Выступление Антона на сходе, как он и хотел, было коротким. Сказал все, что задумал ночью, и по лицам людей, по их возгласам понял: очевидно, подходящие слова и момент нашел нужный, чтобы развеять сомнения и слухи.

— Правильно, комиссар, правильно!

— Славяне вам не французы!

Вдруг кто-то произнес громко, даже весело:

— Неизвестно еще, что будет. Раскудахтались, аники-воины!

Это вклинился Петр Наркевич — до войны знаменитый на всю область тракторист.

— Ты чего? Как неизвестно?! — запальчиво переспросили из толпы. — Известно, оборвем гаду чуб!

— Разогнался! А видел, сколько у него техники? Куда ты супроть нее со своей берданкой? — не унимался Наркевич.

— Тише, товарищи, тише! — попробовал прервать перепалку Мороз. — Конечно, враг шагнул далеко. У Ленинграда стоит, к Москве подкрался. Что есть, то есть, и не будем закрывать на это глаза. Но я верю, твердо верю — нет такой силы, что может нас одолеть. Кто только ни хотел затоптать нашу страну. Помним мы баронов всяких и кайзеров, беляков и атаманов. А она стояла и стоит.

— В точку, в точку, комиссар!

— Закрой поддувало, Петро!

— А ему что ни молоть, лишь бы всем наперекор!

— Самый умный выискался! Мы единством сильные!

Кое-кто из партизан, правда, помалкивал в ходе перепалки, но по их глазам Мороз понял, что вряд ли они на стороне Наркевича. Прочел он на отдельных лицах и сомнение, жгучий вопрос — да, комиссар, все ты, конечно, правильно говоришь, складно, но кому знать сейчас, как дело повернется? Что будет?

А разве Антон сам не задумывался над этим? Разве не естествен этот вопрос, пока жив человек, волею судеб поставленный в чрезвычайные обстоятельства? И разве подлинная вера исключает сомнения?

Раздались голоса:

— Шабаш! Все ясно! Держаться надо, хлопцы!

Чувство благодарности и теплоты к этим полуголодным, небритым, грубоватым людям подступило горячим комком к горлу Антона, он остро ощутил какое-то особое родство с ними, как если бы все они вместе были одна семья, со своими, понятно, бедами, неурядицами, но где по глазам только, по одному только дыханию другого видишь, о чем думает он сейчас и что у него на душе.

Даже выступление Наркевича, уверенного в том, что техника — это все, показалось Антону самым что ни есть обыкновенным отголоском вполне объяснимого желания выделиться — вот, мол, каков я, первый парень на деревне.

Закрыв сход, Антон оставил возле себя Максима Орешко и Андрея Ходкевича и, заговорив с ними, снова поймал себя на том, что где-то на краю сознания разрастается, обжигая, волнованная с детства картина южноукраинской степи, по которой скачут красные всадники:

Потерявший скакуна юный буденовец поднимает глаза на товарищей, горько говорит: «Скачите! Я вам обуза. Скачите! Я так хотел сам показать вам доктора. Он живет на первой улице направо, она ведет к морю. На доме петух-флюгер. Доктора зовут Серафимов, там табличка на двери... Скачите! Мы должны спасти ее!..» Молчат товарищи. «Она не должна умереть, вы поняли? Она такая красивая. У них родятся красивые дети. Они продолжают революцию, которую мы начали. Они будут лучше и проживут достойнее...» Всадники молча поворачивают коней в сторону белого города. Мысль и нетерпение мучают сильнее, чем жажда. Всадники не оглядываются... Тук-тук, тук-тук, тук-тук... Летит, летит мимо почти белая, как июльское солнце, степь...

Мгновенно, точно вспышка, промелькнуло в памяти это видение, оставив после себя печальный след. Почему он постоянно вспоминает ту давнюю книгу? Антон не находил объяснения.

Опять пошел дождь — шумный, сильный, короткий. Потом ненадолго выглянуло солнце, и снова тучи потянулись по небу, сталкиваясь, гонимые осенними переменчивыми ветрами.

Двое партизан шли быстрым шагом.

— Ловко это комиссар по Любовь Орлову, а, Андрей? — рассуждал на ходу Орешко.

— Ловко, — согласился Андрей.

— Да ты хоть видел Орлову?

— Видеть, кх, не видел. Слышал по репродуктору. Голосистая. А так, говорят, ладная бабенка.

— Ладная, голосистая... Я в Минске три раза смотрел «Волгу-Волгу». Вот это да! Живот надорвешь!

— Тебе б только скалиться, — пробурчал Ходкевич. — Хватит ласы точить. Подходим.

Они вышли к реке. Здесь, в узком горле, с берега на берег было перекинуто гладкое, без сучьев дерево.

Осторожно, чтобы не поскользнуться на мокром после дождя стволе, перебрались на ту сторону. Максим чуть было не свалился в реку в каких-нибудь полтора метрах от берега. Почувявший неладное Ходкевич успел обернуться и выбросил навстречу Максиму руку. Орешко устоял.

— Шустрый ты, дядька! А тетерей прикидываешься.

— Сам ты, кх, тетеря, — отрезал Ходкевич. — Лучше под ноги смотри, а то сверзишься!..

До городка оставалось не больше километра. Партизаны крадучись пробирались в прибрежном лозняке.

Идущий первым Ходкевич вдруг обернулся и рукой указал Максиму вперед. На крутояре они увидели большое бревенчатое строение.

— Оно, — шепнул Ходкевич.

До склада было около двухсот метров. Вход в него находился с противоположной стороны. Как тут определишь, сколько

часовых? Да и есть ли? Может, быть, пленных уже погнали дальше на запад?

— Гля! — громко выдохнул Максим. Ходкевич показал ему кулак.

Из-за угла вынырнула фигура в длиннополой шинели, с автоматом на груди. Сделав три шага в сторону обрыва, немец повернул обратно и скрылся из виду.

Партизаны пролежали еще с четверть часа. Никого.

Орешко заерзал на месте:

— Черт его дер! Куда задевался? Рванем ближе!

— Погоди чуток. Может, кх, объявится.

Туман усилился, загустел. Земля отдавала накопленную за ночь влагу. Очертания склада и редких деревьев за ним расплывались, серели, точно в дымке, и приходилось напрягать глаза, чтобы хоть что-то разглядеть.

— Ладно, давай тишком, — сказал Ходкевич и пополз к складу. За ним бесшумно двигался Максим. Проползли метров пятнадцать — к песчаной отмели у реки. Дальше нельзя — впереди ни кустика.

Из-за угла появился охранник — плотный, чуть сутулый. Опять три шага к обрыву и — обратно.

Неожиданно тишину распорол автоматная очередь. Спустя мгновение из-за склада показался человек с перебинтованной головой, в красноармейской гимнастерке, грязных обмотках вместо ботинок. Он передвигался с трудом, припадая на лезую ногу. Следом высочили двое красноармейцев и тоже бросились с крутояра вниз, к песчаной отмели.

Показались еще двое. Один придерживал другого за пояс, но двигались они довольно быстро. Было слышно, как скрипит под ногами беглецов песок.

Откуда-то из мглистого тумана гулко ударил пулемет. Упали те двое, что выбежали последними. Один из них прополз немного и уткнулся лицом в песок, вытянув руки к реке.

Пулемет строчил не переставая. Упал еще один из красноармейцев.

Из-за угла высочил человек в форме красноармейца с немецким автоматом в руках. Он укрылся за выступающим срубом и стал стрелять короткими очередями.

Ходкевич клацнул затвором винтовки, прицелился. Максим бросился к нему, сбивая ствол вниз:

— Ты что?

— Так перебьют же наших, как кур!

— Лежи! И людей не спасем, и сами загинем! Лежи, черт тебя дер!

Возле красноармейца с автоматом взорвалась граната. Когда дым рассеялся, партизаны уже не увидели у стены никого.

Последний оставшийся в живых бежал к реке. Ему оставалось около десяти метров до воды. Он обернулся, услышав, что выстрелы стихли.

Раздалась длинная очередь.

Красноармеец грузно рухнул на песок.

Тут же Орешко и Ходкевич увидели, как, резко затормозив, у края обрыва остановились два мотоцикла с колясками. Сквозь треск моторов донеслась громкая речь, отрывистые

команды. Над строением вспыхнул огонь, пламя быстро окутало дом.

Выбирая путь отступления, Максим увлекал за собой напарника. Ходкевич то и дело оглядывался на пылающий дом, и на скалах его ходили желваки.

— На наших глазах, — выдавил он, — а мы...

— Не стони! И людей не спасли б, и сами загнули!.. Вот и переправа!.. Да не поскользнься, Иваныч! Держись!..

Ходкевич брел по лесу, спотыкаясь, оборачиваясь, как будто хотел разглядеть что-то или вернуться обратно к реке. Кхыкая, он повторил несколько раз: «Как же так? Живых людей... в огне. Как же так?.. На наших глазах, кх, а мы...»

— Не трави душу! — резко огрызнулся Орешко — Без тебя, растуды твою, тошно! Куда бы ты со своей берданкой против пулемета?..

Потом шли молча. Зарядил дождь, мелкий, тяготный.

Чем ближе подходили к стоянке отряда, тем отчетливее, как на киноленте, в памяти Максима раз за разом всплывала страшная картина: красноармеец, застигнутый пулей в нескольких метрах от воды, вдруг взмахивает руками и грузно валится на песок...

Под вечер Мороз собрал на кухне у тетки Полины нескольких партизан. Обговаривали, куда отправиться за провизией, что добыть в первую очередь, каким путем доставить продукты в отряд. Прикидывали, как зимовать — холода ведь не заставят себя ждать. Вдруг кто-то тронул Антона за плечо. Обернулся — Зося.

— Товарищ комиссар, — прошептала девушка, наклонясь к нему. — Там Стаська пришел. Бледный весь. Вас спрашивает. — Какой Стаська? — не понял сразу Мороз.

— Ну, Эрнст, сын учителя того, что у немцев служит. А Стаськой это его так кличут.

— А-а... Пусть подождет, я сейчас...

Приближаясь к устроившимся у входа в его землянку Эрнсту и Зосе, Мороз еще издали — только увидев, как напрягся и сжался в комок мальчишка — понял, что вслед за событиями у реки стряслась, очевидно, новая беда. Зося держала руку подростка в своей, что-то горячо говорила. Мальчик молчал, низко наклонив голову.

— Вот все спрашиваю его, спрашиваю, — с обидой сказала Зося, — а он ни слова. Хочу помочь, а он...

Эрнст поднял на комиссара глаза. Они были печальны.

— Спасибо, Зося, мы тут разберемся. Пойдем, Эрнст, в землянку...

Когда сели за стол, Мороз спросил мальчика:

— Пить хочешь?

— Нет, Зося напоила.

Мороз нарочито небрежно, даже укоряюще сказал:

— Что ж ты, брат, нарушаешь порядок? Я тебя в ночь жду, а ты вот он — тут как тут. Иль случилось что? Рассказывай.

— Лютовать немцы начали, — выдохнул мальчик, теребя в руках шапку. — После побега. Ну как пленные бежали. Убили там офицера и двух солдат ихних. Они и начали.

— Так...

— В полдень согнали народ на площадь, а там виселица... Скамейку внизу поставили... Народ молчит, а бабы все крестятся, крестятся... Потом наших привели. Трех. Без шапок, руки за спиной связаны... Одного я не знаю, какой-то хромой, Иваном его бабы называли... Других знаю. Сапожник старый Платон Орешко, маленький такой, сутулый, и бывший учитель ботаники из второй школы Игнатий Купревич, постарше Орешко будет, длинный, седой-седой, с бородкой, его еще Дон Кихотом звали.

Эрнст глотнул воздуха.

— Тут офицер вперед вышел. Встал напротив виселицы... Сегодня, говорит, был убит очень кароший немецкий офицер и два зольдатен фюрера. Мы тоже будем убивать три мужчины. Нелзя, говорит, убивать зольдатен фюрера, будем сильно наказать...

Наших повели к виселице, тут бабы в крик, а немцы строчить стали поверх голов. Скамейку кто-то выбил, я отвернулся... А бабы голосят и крестятся. А те трое уже висят...

Антон поднялся, подошел к мальчишке, обнял его, прижал к себе. Худенькие плечи подростка дрожали.

— Гады, гады! — выкрикнул он. — Гады!..

— Ни в чем не повинных людей, — выговорил Мороз. — Стариков... Хромой Иван... Сапожник Орешко... Ботаник... Он еще выставку бабочек делал в клубе в тридцать девятом, помнишь? Больше ста бабочек, самых разных. В коробочках красивых, на бархате... Игнатий Петрович, с бородкой. Тихий, улыбчивый. Точно — Дон Кихотом его звали.

— Гады...

«Боже, — подумал Антон. — И мой отец мог быть там. Безоружных уничтожают. Стариков и увечных — как же так?»

Он прошелся по землянке, стараясь успокоиться. Потом спросил:

— А что отец?

— Он велел идти. Явился домой днем, часа в три, хотя обычно, знаете, чуть не за полночь приходит. Сказал, что вчера поздно вечером — уже после того, как мне сообщил о пленных, — во время допросов сумел передать записку одному нашему, пожилому с забинтованной головой. Может, засек кто, сказал отец, сердце неспокойно. В записке той он написал, что партизаны все знают, и указал направление, куда бежать, чтобы попасть к вам. Вот они и рыли подкоп. Только к рассвету управились. И рванули.

— Понятно, — сказал Мороз. — Понятно, брат.

До Антона яснее дошел смысл происшедшего, и он со стыдом и горечью осознал, что не смог предвидеть такого поворота событий, считая, видно, что пленные будут сидеть и дожидаться освобождения, а немцы дадут возможность провести разведку и лишь затем тщательно продуманное нападение. Что бы сказал обо всем этом Лучинец? Уж он-то ни при каких обстоятельствах не наделал бы подобных глупостей. Но разве не его советом — беречь людей — руководствовался Антон, когда посылал на задание Орешко и Ходкевича?

Видно, никакие, даже самые умные советы нельзя принимать слепо. Нельзя цепляться за них без умения правильно оценить реальные обстоятельства и реальных людей. Надо больше на-

деяться на себя и прислушиваться к себе... Как же быть теперь?

— Вот что, Эрнст, — сказал комиссар, — думаю, тебе надо остаться в отряде. Располагайся-ка у меня. А там видно будет.

Мальчишка поднял на Антона печальные глаза, сказал с беспокойством, но решительно:

— Как? А отец? А мама? Я пойду!

— Не торопись, не торопись. Сейчас тебе появляться там — только гусей дразнить. Скажи лучше, нельзя ли в случае чего объяснить твою отлучку тем, что ты пошел к родичам в соседнюю вёску? Есть родичи? Вот и отлично... Давай, располагайся. А я пройдусь. Скоро буду. Согласен? Ну чего ты так на меня смотришь? В дом твой мы человека пошлем. Понял?

Подросток молчал. Мороз усмехнулся:

— Упорный... Это хорошо. Но сейчас нам все по уму надо делать. По уму. Согласен?

— Согласен, — вздохнул Эрнст.

У островерхой сосны возле землянки Орешко комиссар увидел группу партизан. Среди них выделялся Петр Наркевич. Запыхавшись сбив на правое ухо шапочку, дымя самокруткой, он выразительно жестикулировал, видно, не соглашался с кем-то. Подойдя ближе, Антон услышал:

— Не-не, никак не уразумею, откуда ж мотоциклет взялся?

— Откуда-откуда? Почему мне знать, растуды твою! — устало и сердито отвечал Максим. Очевидно, вопрос задавался уже в сотый раз. — По случаю, видать, откуда-то выскочил. Бывает же!

Немолодой партизан Титыч, бывший сторож в пекарне, заметил писклявым голосом:

— И все ж, хлопцы, трэба вам было, это самое, пульнуть. Отвлекли б немчурню. А наши солдатики, это самое, и сбегли б!

— Пульнуть, пульнуть, — обернулся к нему Максим. — Куда? В небо? Так от этого ни холодно, ни жарко. Говорю же: мы фрицев засекли не сразу. Туманом все кругом заволокло. Да и чесали они, не поймешь откуда!

— Когда засекли, тогда б, это самое, и пульнули. А хоть бы и в небо! Короче, зубы трэба было показать.

— Мертвому припарка! Наши уже тогда лежали убитые на отмели. Мы и глазом не моргнули... Да и, — Максим заметил Мороза, — ...и задача была — на-блю-дать. Правильно говорю, комиссар?

Мороз ответил не сразу:

— Предполагалось сперва выяснить, что к чему, а уж потом принимать решение. А в жизни вон оно как...

— Не знаю, Антон, что оно к чему, но, это самое, думаю так: коль нашим крушат головы, так сам погибай, а товарища выручай. Иль не так, это самое?

— Так, Титыч, — твердо произнес Мороз. — Так. Правду говоришь. Хотя все, конечно, произошло неожиданно. Максим и Андрей сообразить ничего не успели.

— Неожиданно, — с какой-то обидой и в то же время примирительно сказал Титыч. — Теперь трэба и нам, это самое, отплатить гадам... неожиданно.

— Отплатим, Титыч. Дай только час!

Установилось молчание. Мороз взял Максима под локоть.

— Есть разговор. Отойдем в сторонку.

Они сделали несколько шагов. Максим выжидательно взглянул на Мороза, спросил:

— Чего тянешь, Антон? Говори! Заладили все одно и то же: «Трэба было пальнуть, трэба было пальнуть!» Так я считал и считаю, повторяю еще раз — и людей не спасли б, и сами головы ни за что положили.

Мороз подумал, что «ни за что», наверное, не самое точное определение, однако вслух ничего не сказал. Надо было ведь сообщить Максиму совсем о другом, о смерти отца, а как? Как?.. Запас слов в таких случаях скуден.

— Горькую весть принес тебе, Максим. Сегодня в райцентре на площади немцы повесили троих наших. Кого могли, согнали на казнь... Один из повешенных... твой отец... Мужайся, Максим.

Орешко вскинул на Антона глаза, словно не веря, ожидая еще какого-то подтверждения.

— За что? Кто сообщил?

— Пришел связной. Он был на площади, все видел... Немцы сказали, что месть... Наши при побеге трех немцев убили. Вот и...

— Как же это? — простонал Максим. — Работал всю жизнь, никого не трогал, тише воды, ниже травы. А тут его — раз-раз. и конец...

Максим замолчал, потом выдавил:

— Все... Один я остался. Больше никого. Один на земле орешек...

Он посмотрел на Мороза затуманенными глазами:

— Молчи, Антон, молчи. Отца не вернешь, — и тяжело пошел прочь.

Стараясь подавить в себе озноб, комиссар вернулся к партизанам, рассказал о событиях в городке.

— Да что ж это? Иль они совсем не люди? Как же, это самое? — горячо заговорил Титыч.

Кто-то произнес недоуменно:

— Вот это вояки — стариков душить.

— Ну и гады! Ни совести, ни жалости!

— Да какая совесть? Ты для них — былдо, червь. С тобой можно, как он захочет. Растереть и наплевать.

— Эх, — воскликнул Титыч, — танк бы занять!

— Где ж его займешь? Завод в лесу не откроешь. Без танка придется, дед, — резко сказал Мороз и двинулся прочь.

Отойдя чуть поодаль и немного успокоившись, он решил пойти на кухню, найти Зосю. Еще в землянке, во время разговора с Эрнстом, Антон подумал о том, что в дом учителя, очевидно, следует послать именно Зосю. В первый момент он не находил объяснения такому решению. Как воспримет она гибель старого Орешко? Ему хотелось смягчить, отдалить ее страдания.

Подходя к кухне, Антон еще не был до конца уверен в правильности своего выбора — оставались какие-то неясности и противоречия, но он уже принял решение.

Зося была одна.

— А где наша старшая кормилица? — спросил Мороз, стараясь выглядеть спокойным, даже веселым.

— По дрова пошла. Антон Иванович, сейчас будет. Нужно что?

Мороз начал без предисловий:

— Зоя, тебе надо выйти в райцентр, найти дом Эрнста. Это улица Первого Мая, восемнадцать, там как раз напротив калитки колодец с высокой крышей и журавлем. Знаешь?

Зоя кивнула.

— Так вот, — продолжил Антон, — нужно сначала присмотреться хорошенько, — в доме может быть засада, — и только потом заходить. Если увидишь, что там никого нет, пусто, возвращайся без всякого промедления. Если же повезет, расспроси Евдокию Петровну обо всем, что ей известно. Думаю, учитель арестован. Но не будем загадывать...

Зоя вскинула на Мороза глаза:

— Как? Учитель же немцам служит! Я еще думала: надо ж как — мальчик нам помогает, а отец продан. Разве он наш?

— Наш, Зоя, наш. Надо узнать, что с ним. Только еще раз повторяю: если дом пуст, сразу назад, в отряд. Не спеши за щеколду браться... Выходить надо сейчас. Тетке Полине я все объясню. Мы с Эрнстом тебя проводим. — Он пристально посмотрел на девушку. — Не боишься?

— Не знаю, — сказала она тихо и поднялась с пенька. — Я сейчас, быстро. Ведь это надо...

— Надо. Только ты... платок, Зоя, потемнее да постарее возьми, если есть. Все-таки не такая будешь... красивая, — смушась, попросил вдруг Антон и тут же выругал себя. Как будто платок мог чем-то помочь, наткнись Зоя на полицаев или немцев.

Они распрощались с ней на опушке леса. Договорились о встрече в два часа ночи здесь же. Одна Зоя не нашла бы тропу через топь.

Обратно в отряд они с Эрнстом шли молча. И опять в сознании Мороза быстрой, но яркой картиной промелькнули страницы его любимой книги, и он вдруг ощутил, что сам, своей фантазией дорисовывает, расцветчивает их.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук... Скачут всадники. И вот с высокого холма они видят город. Он лежит в белесой дымке, упираясь южной окраиной в берег моря. Сквозь дымку белеют дома и хаты, вдали краснеют черепичные крыши. Радостью наполняются молодые сердца. Гикнув, всадники устремляются вниз по пыльному шляху.

Первая улица направо. Где же докторский дом с петухом-флюгером? Вот он — за нарисадником, скрытый раскидистыми вишнями и старыми акациями. Они идут к дому по дорожке, посыпанной песком. Вот скрипит под ногами крыльцо. Стучат в дверь с бронзовой табличкой и надписью в завитках — «Доктор К. К. Серафимов». Долго никто не отвечает. Наконец слышатся глухие шаги. Дверь открывает старушка. Она в голубом чепчике. Светлые, почти прозрачные глаза. Их вид пугает ее. «Не лякайтесь, мамо. Наши души милосердны. Тут дэсь е доктор. Трэба спасти добру дивчину», — говорит самый смелый, батрак с Полтавщины.

Она уходит. Бегут секунды. Из темноты и прохлады комнат

появляется большой человек в темно-малиновом халате с бородкой клинышком и чистыми красивыми руками. Они спрашивают: «Вы доктор Серафимов?» — «Да, — отвечает он. — Я Константин Константинович Серафимов, доктор». Они говорят: «Помогите спасти дивчину. У нее рана навывлет». — «Где же она?» — «В Симоновке, двадцать верст отсюда». — «Хорошо, судари, я готов. На чем едем?» Они смотрят друг на друга. Им хочется стонать от бессилья. У них нет повозки. Есть только взмыленные кони и горячие собственные сердца.

«Вы можете верхом?» — «С юности не пробовал». — «Ничего, мы будем рядом. Мы сделаем все». Доктор кивает, снова уходит в темноту и прохладу. Один из всадников должен остаться. Появляется доктор. В руке черный аккуратный саквояж. Все выходят на улицу. К доктору подводят коня, помогают ему забраться в седло. Тот, кто остался, видит, как исчезают вдали всадники...

Партизанский лагерь, взбудораженный событиями дня, долго не засыпал. Лишь ближе к полуночи люди уgomонились и улеглись. Но и ночью они думали о том, что вступили в войну, которая принесет много, очень много бед и страданий. Зачем и кому она нужна, если погибнет столько и тех и других, и неужели есть что-то, что может стоить этого?

В темноте Зося услышала, как стукнула щеколда и, скрипнув, отворилась дверь, кто-то, звякнув ведром, вышел на крыльцо. По шагам, мягким, осторожным, Зося поняла — женщина. Зося ступила из-за угла дома и тихо, но отчетливо позвала:

— Евдокия Петровна, подождите, не бойтесь. Я Зося Ярмолч, ваша ученица, принесла вам привет от Эрнста.

Женщина медленно обернулась, проговорила спокойно:

— Пройдем в дом.

Через сени, пахнувшие кислым молском, они прошли в большую комнату. Потрескивала печь. Они сели рядом с ней на скамью. Учительница не зажгла ни свечей, ни керосинки.

— Где мой сын? Как он? — Голос ее звучал напряженно.

— Жив-здоров, — поспешила заверить Зосю. — Все хорошо. Он у нас в отряде. Все беспокоится, как вы.

— В отряде? — переспросила женщина и повторила с какой-то грустью. — В отряде... Мне никто ничего не говорил. Ни сын, ни муж. Все втайне от меня. Будто я не мать, не жена...

— Вас берегли, — сказала Зося, вспоминая комиссара, который предполагал, что среди первых вопросов будет, наверное, и такой. — Да это и действительно тайна. Ведь война...

Евдокия Петровна вздохнула:

— Берегли... А сами не убереглись... Мужа взяли. Сюда приходили с обыском. Перепотрошили все, вверх дном поднимали, насилиу расставила по местам. Убрались злые, видно, не нашли того, что искали. Про сына спрашивали. Я сказала, что у родственников в Низковичах, может, через два-три дня вернется. Как чуяла...

— А кто сказал, что муж арестован?

— Эти-то... потрошители молчали, хотя, конечно, я догадывалась, что беда стряслась. А недавно заскочила Катя Будкевич,

ученица моя бывшая, дочь бакалейщика — он теперь в полиции служит. У, говорит, ненавижу батьку. Обед-ужин ему ношу, говорит, а сама, грех-то какой, думаю — чтоб бы подох... Страшно, Зося, правда?

— Очень страшно, Евдокия Петровна, очень.

— Да-а... Он-то и сболтнул Кате. Вот, мол, повязали, наконец, твоего наставника, допрыгался, буквоед паршивый... Посадили пока в полицию — туда, где раньше районная милиция располагалась. Это у них что-то вроде камеры предварительного заключения. Видно, сомневаются в чем-то или доказательств не хватает. Это я так думаю... Может, все и не так... Теперь не поймешь...

Она помолчала, потом сказала с болью:

— Почему же, Зося, мои ничего мне не говорили?

Зося не знала, что ответить. Она не могла сказать, поделилась бы на месте Эрнста всею правдой с матерью или нет.

— Э, да о чем я спрашиваю. Прости, Зося. Скажи лучше, как Эрнст?

— За него не беспокойтесь. Там ведь кругом все наши. Мы как семья большая... А он сильный и смелый. И такой терпеливый. Лес очень хорошо знает. Молодец!

Евдокия Петровна кивнула, поднялась, открыла печь, пошуровала головешки кочергой.

— Догорают. Одни угли остались.

Они с минуту молчали. Потом Евдокия Петровна спросила:

— Про казнь знаешь?

— Казнь? Какую?

— Началось тут... Немцы повесили троих наших. Сегодня. Учителя Купревича, он боганику преподавал до тридцать пятого года, пока не занемог. Теперь уже старый-старый. Но ты, наверное, не помнишь его. А еще Ивана Бусла, хромого, он раньше на мельнице работал, скромный, замкнутый человек. И сапожника Орешко Платона...

— Что? — спросила Зося, теряя голос.

— На площади повесили, изверги... Боже мой, а я все еще думала, ну почему, почему муж прямо на глазах изменился. В себя ушел, ночами не спит... Не по себе ему было. Сейчас корю себя за то, что могла сомневаться в нем. Конечно, Зося, верить и думать мне не хотелось, что он может всерьез пойти к фашистам в услужение. Да и говорил он, что думает добиться со временем открытия школы, чтобы снова преподавать. В какой-то момент решила — оправдания себе ищет, совесть очистить хочет. И, знаешь, как-то отошла от него, отодвинулась. Все молчком-бочком. И за Эрнни боялась, как бы он, глядя на отца, не сделался оборотнем. Только теперь представляю, как мучился муж, как стыдно ему было, что течет в нем немецкая кровь. Или, может, не стыдно — горько. Ах, милая, как же тяжело все-таки... Нация, давшая миру Гёте, Бетховена... Те возвышали людей, эти — топчут...

Зося молчала

— Что ты, милая? — тронула ее за колено Евдокия Петровна. — Ты плачешь?

— Нет, — сказала Зося, утирая слезы. — Просто жалко их, Всех жалко... И мужа вашего, и повешенных...

— Эх, голубушка моя... Не зря говорится: пришла беда — открывай ворота. А такая беда сроду к нам не захаживала. Сначала кур стреляли, поросят. Теперь за людей принялись...

Зося вдруг поднялась.

— Спасибо вам, Евдокия Петровна. Мне пора.

— Куда же, на ночь-то глядя? Переночуй в тепле. В землянке какой сон? Накормлю тебя. Голодная небось?

— Нет-нет, я пойду. Меня ждут.

Она повязала платок, повернулась к выходу.

Евдокия Петровна проводила ее до сада.

— Спасибо вам, — снова сказала Зося, прощаясь. И вдруг спросила: — А, может, вы со мной, Евдокия Петровна?

— Нет, голубушка, нет. Где муж, там и я. Нитка за иглой.

— Да-да, конечно, — согласилась Зося. — Вы правы.

— Эрни скажи, пусть будет сильным и вспоминает о нас. Прощай!

— До свидания!..

В поле Зося расплакалась. Слезы текли по лицу, перемишываясь с дождевой моросью, и Зося не утирала их. Она даже и не понимала, о чем плакала. Обо всем, наверное.

Теперь и она, и Максим стали совсем одинокими, только у нее еще есть тетка Полина, где-то остается, может быть, живая сестра, а он совсем один. Хотя почему один? А она? Зося должна быть с ним, и она будет с ним. Он чем-то похож на ее отца, и Зося поможет ему во всем, скрасит его одиночество любовью и лаской.

Вот только была бы еще дудочка... ее простая дудочка из липы, о шести отверстий, подарок ее отца... она бы играла Максиму... хочешь, сойкой запою?.. Фью-фью, фью-фью-фью, фью, фью-фью... хочешь, как свиристель?.. а почему же я тогда устыдилась, что мама слышит, как я играю под яблоней... мамы устыдилась!.. чудная!.. это ведь мама, не кто-нибудь... А хочешь, Максимушка, я, как ручей, запою?.. Все, как хочешь... и почему я не взяла с собой дудочку?.. что они с ней сделают?.. они кур стреляли, поросят, теперь людей... айн, цвай, драй... дудочка такая маленькая, хрупкая, ее легко сломать... мама тогда улыбалась счастливо, а я устыдилась... Евдокия Петровна очень хорошая, а близкие ей ничего о своем потаенном не сказали... она бы все стерпела, за ними куда угодно пошла... я, Максим, всем с тобой поделюсь и буду с тобой до последней секундошки... мы не одинокие, раз мы вместе... что сыграть тебе, прикажи?.. но ведь дудочки нет.

Комиссар первым заметил в ночи Зосю. Промокнув до нитки, она отвечала на вопросы после долгих пауз, точно пробиваясь к смыслу сквозь пелену дождевой мороси.

Когда пришли в лагерь, перед расставанием она сказала, подняв на Антона грустное, красивое лицо:

— Неужели, Антон Иванович, никогда не будет, чтобы без страха? Чтобы люди не с винтовками шли друг к другу, а с подарками? Ведь дарить же лучше. Сам себе люб...

При виде тихонько сопящего Эрнста Антон с горечью вспомнил расставание с Зосей. Душу вновь опалила печаль ее глаз,

и он подумал: сколько же испытаний выпадет и на эту дорогую ему дивчину, и на этого спящего мальчика, и на весь народ. Какую стойкость надо иметь, чтобы все выдержать, превозмочь, не утратить веры в добро и человечность? Он вдруг с пронизывающей остротой почувствовал, как разрастается в нем гнев против той нелепой, чудовищной силы, которая породила это поле ненависти и вражды. Антон ощутил, как вскипевший в нем гнев требует выхода, требует действия хотя бы на этом маленьком, заброшенном в болотистом лесу участке. Они должны, давно должны дать понять врагу — вызов принят. Надо прежде всего вызволить учителя. Вызволить во что бы то ни стало!

Как легко было бы вырваться из землянки, схватить автомат, добраться побыстрее до городка и разрядить весь диск в пер-вых же попавшихся врагов.

Он не имеет на это права. Сейчас его автомат — это спокойствие и логика решений.

Он лег на свою жесткую лесную постель.

Времени оставалось в обрез. Это стало совершенно ясно после встречи Зоси с Евдокией Петровной.

Учителя держат, не выпускают — значит, выжидают? Или ищут других доказательств? Может быть, ждут, когда появится Эрнст? Наверняка они проверят и родственников. Все-таки своевременно он послал в Низковичи Наркевича. Успеет ли тот? Он вышел почти сразу за Зосей. В случае удачи немцы будут «знать», что мальчишка рано утром распрошался с родственниками, а по дороге собирался зайти в одну-две попутные вёски обменять носильные вещи на продукты. Ищи его там, как ветра в поле...

Перед рассветом Антона разбудил Наркевич. Исцарапанный, с красными от усталости глазами, он то и дело потирал чуть ниже колена левую ногу, морщась от боли.

Да вот, сказал, черт попутал, в яму, будь она неладна, угодил вместо медведя. А чего ж это ты не на мотоциклетке, с серьезностью спросил его Мороз, быстренько бы туда-сюда... Ну, комиссар, ну, язва, захохотал Наркевич. Отсмеявшись, сказал, что крестьянские ноги — лучший мотоцикл. Ладно, усмехнулся комиссар, успел? А як же?! Родственников нашел, куда им деться, предупредил по всей форме. Обещали сделать все, «як треба». Хорошо, иди лечи ногу, скоро понадобится, весело сказал Антон.

Наркевич ушел, озадаченный необычной простотой и веселостью серьезного не по годам, сдержанного комиссара.

Мороз подвел первые итоги. Похоже, сегодняшний день отвоёван партизанами. А, может, и предстоящая ночь.

Теперь, рассуждал он, следует организовать наблюдение, во-первых, за домом учителей, и, во-вторых, за полицией. Учительский дом стоит на самой окраине городка — за ним легко наблюдать через реку с лесной опушки. А вот с полицией, конечно, будет намного сложнее. Так просто не сунешься.

Надо послать туда Ивана Голубовича. Парень смекалистый, ловкий, а главное — дом его престарелых родителей через каких-нибудь два двора от полиции. С чердака можно уследить за всем, что происходит вокруг. Только бы добраться без шума!..

Антон пошел к Ходкевичу, разбудил его, и они вместе направились к Титычу обсудить план действий.

Через полчаса, еще до рассвета, двое партизан отправились на задание.

Проводив их, Мороз столкнулся возле кухни с Максимом Орешко и Зосей. Они стояли, облокотившись на телегу, переговаривались. Лицо Максима, обычно веселое и живое, было угрюмым. Всклокоченные волосы торчали из-под шапки. Зося выглядела грустной, озабоченной, под глазами легли темные круги.

Мороз поздоровался, пожал руку Максиму.

— Вот жизнь, комиссар, — сказал тот хмуро. — Даже похоронить батьку не могу по-человечески... Свезут старого на погост — и дело с концом...

— Да, — сказал Мороз, — беда.

После паузы добавил:

— Что поделаешь. Поживем еще, повоюем. Держитесь, ребята...

Они промолчали, только Зося теснее придвинулась к Максиму.

Уходя, Антон вдруг поймал себя на том, что невольно ускоряет шаг — он всегда чувствовал стыд, когда был бессилен помочь в чужой беде.

Кроме того, Антон с удивлением ощутил, что восприятие жизни мирных людей в райцентре, причинившее ему столько боли ночью, теперь, на свету, словно притупилось, спряталось, забилося куда-то вглубь. Неужели и к таким бедам, даже к самой смерти, так скоро привыкает человек? Наверное, шар ненависти подминает под себя сострадание, ожесточает и огрубляет всех, кто встает на пути, кто просто оказывается рядом. Очевидно, это самая большая всеобщая жертва войны. Не случайно же — запомнилось с детства — над остывшим, захламленным пожарищем выются только черные птицы, а трава, зеленая кожа земли, прорастает медленно...

— Антон Иваныч! Антон Иваныч! — услышал Мороз мальчишечий голос. К нему со стороны кухни бежал Эрнст. — А где Зося? Не видела? Она вернулась, я знаю, тетка Полина сказала, — выпалил он. — Где она?

— Занята сейчас. Я тебе сам все расскажу.

— Мои живы? — перебил его подросток.

— Живы. И отец, и мама. Отец арестован, не буду от тебя скрывать. Но это ничего. Вызволим отца. Думаю, вызволим...

Антон посмотрел прямо в глаза мальчика. Тот молчал. Антон положил ему руку на плечо:

— Пойдем-ка, брат, покажу тебе одно местечко, где гнездились аисты. Никак не пойму, почему так далеко от жилья? Раньше всегда прибывались поближе к людям. А вот этой весной в чашобу заваялись. Я бывал здесь — бульбу в углях пекли — и тогда что-то не замечал этого. Пойдем?

— Пойдем... Правда, почему в чашобу? Неужели войну чуяли?.. — Чуть помолчав, мальчик спросил: — Правда, вызволите?

— Думаю, вызволим, — повторил Мороз. «Смотри, какой молодец, — подумал он про себя. — Даже голос не дрогнул...»

Около часа дня вернулся Андрей Ходкевич, сам вызвавшийся вести наблюдение за учительским домом. Он видел, как утром пришли два полица, вытолкали Евдокию Петровну во двор и повели.

Около восьми вечера явился Голубович. Утром у него все получилось удачно — прошмыгнул как мышь. А на обратном пути чуть не столкнулся нос к носу с немцами. Чудом успел проскользнуть в чей-то двор и спрятаться за собачьей будкой в малиннике. Вот все руки исколол и не только — он потер ниже поясицы. Слава богу, что хоть пустой была будка-то...

Голубович подтвердил: около одиннадцати в полицию привели учительницу. После двух дня приехал в черной легковушке фашистский офицер. Пробыл часа полтора и укатил. Затем до самого вечера все затихло. Ни учителя, ни его жену не выводили. Часовой у входа сменяется через два часа.

Мороз спросил о казненных. Голубович насупился. Мать передала, что рано утром полицаи отвезли трупы на кладбище и закопали, где попало, никого не допустив на похороны. Креста на них нет, возмущалась мать, где ж это видано, чтоб над покойным человеком никто слезы не пустил. Сволочи! Как будто не людей хоронили, а собачню какую...

Попросил Иван мать и еще об одном, — осторожно потолкаться вечером возле полиции. Она, правда, ничего особенного не заметила. Ходили туда-сюда с десятков полицаев, вечером бутыл с самогоном притащили.

Так, остановил парня Мороз, кто и куда притащил? Да эти полица, к себе, сказал Голубович. Весело им, рыгочут...

Вскоре Мороз собрал небольшой совет, хотя совещаться особенно было не о чем. Исходили из того, что полицаи неспроста запаслись самогоном. А коль так — попойка закончится не скоро, полицаи наверняка захотят покуражиться, почувствовать себя властью, хозяйчиками — для таких мерзавцев нет ничего желаннее, чем война или смута. Выходит, нападать разумнее всего после четырех утра.

Определились и с тем, кто пойдет на операцию: Андрей Ходкевич, Максим Орешко, Иван Голубович, который знал в округе каждый закоулок, и два Петра — Наркевич и Слишков, знаменитый на весь район охотник. Ну и Мороз, понятно.

Договорились выйти из лагеря в час ночи.

Ближе к двенадцати Антон решил прилечь, подремать хотя бы часок. Но сон не приходил. Перед глазами беззвучно махали крыльями какие-то большие черные птицы, закрывая собой горизонт и солнце, а потом откуда-то донесся усталый, но нетерпеливый стук копыт...

Тук-тук, тук-тук... Скачут всадники. Трое молодых в выцветших гимнастерках. Еще один пожилой и степенный — в красивом светлом костюме и соломенной шляпе на тесемочке. «Вы кто?» — неожиданно спрашивает доктор того, кто скачет рядом с ним. «Красные бойцы. Мы бьемся насмерть с буржуями за мировую революцию. Мы хотим, чтобы все кругом было по справедливости и трудовым людям жилось счастливо и спокойно, а детям их еще лучше». — «И потому вы стреляете в таких же людей, как сами?» — не унимается доктор. «Мы стреляем во врагов трудового народа, чтобы больше никогда и нигде не

стреляли. Революцию нашу хотят задушить в колыбели, как малое дитя, но мы не дадим. Есть и те, кто пока ничего не покидает. Но скоро все-все на этом земном шарике увидят, что мы хотим добра, и пойдут за нами как миленькие». — «А вы уверены в этом?» — «Мы очень крепко уверены и спокойны за это, — отвечает всадник, смахивая на скаку пот со лба. — Ведь все хотят справедливости, мира и радости. Никого нет, кто бы этого не хотел, кроме буржуев и спекулянтов. И все это даст наша революция, вот увидите».

Возвратившись от комиссара, Максим застал в землянке Зосю.

— Я думал, ты уж десятый сон смотришь.

— Да вот, — сказала Зося, поднимаясь. Одеяло с ее ног соскользнуло на пол.

Он подошел, поднял его.

— Обними меня, — попросила она.

Максим неловко притянул ее к себе. Ее дыхание было горячим.

Зося припала к нему, поднимая и немного закидывая назад голову, прижимаясь, точно птица, бьющаяся в силке.

— Я люблю тебя, Максим.

Он отпустил ее, сделал три шага назад, чтобы закрыть дверь на крючок, затем вернулся к девушке...

Когда он перенес ее на лежанку, она взяла его руку и погладила. Максим сказал:

— Зося, пора тебе. Скоро за мной придут.

— И что? — сказала она. — Я ведь жена тебе. Нам никто ничего не запретит. И нам никогда не будет одиноко. Мне с тобой хорошо...

— И мне... А теперь иди... За мной комиссар заглянет.

— Он хороший, добрый, — сказала она.

— Хм, — усмехнулся Максим. — Начальник.

— Он не начальник, он все понимает.

— Все да не все, — заметил Максим, помогая Зосе подняться с лежанки.

— Поцелуй меня, — попросила она. — Только по-настоящему. Крепко-крепко.

Он поцеловал.

— Я люблю тебя, Максим. Мне с тобой хорошо.

— И мне. Ты такая красивая, ласковая.

Опустив голову, Зося пошла к выходу.

— А ты куда? — обернулась она уже на пороге.

— Есть одно дело.

Ночь была холодная и ясная. У площади перед зданием полиции Мороз дал знак Слизову и Голубовичу — пора, как и договаривались, выходить на противоположную сторону улицы и там затаиться на случай, если понадобится прикрыгис. Сам он с Петром Наркевичем оставался в засаде на этой стороне, совсем близко от здания, проникнуть в которое надлежало Орешко и Ходкевичу.

Антон чувствовал, как учащенно стучит сердце. Ладони вспотели, и он то и дело машинально вытирал их о телогрейку. Антон старался унять волнение, но это никак не удавалось. Лишь

только когда увидел часового, перестал ощущать сердцебиение, стремясь не выпускать из вида охранника.

Долговязый и худой немец с поднятым воротником шинели то топтался у крыльца, то прохаживался вдоль здания, то направлялся к центру площади.

Наверное, это и насторожило Максима с Андреем. Они медлили. Наконец, комиссар и Наркевич увидели, что две фигуры, прижимаясь к забору, двинулись к зданию. Впереди мягко крадся шуплый Андрей Ходкевич, за ним, в двух шагах — Максим.

Они почувствовали момент, когда часовой остановился у крыльца, и замерли. Затем он повернул направо, и они стремглав бросились к углу дома. Немец, словно предчувствуя какую-то опасность, вернулся к входу, постоял там, пошарил зачем-то по карманам шинели, снова двинулся по площади, опять возвратился к крыльцу и затем вновь повернул в противоположную сторону. Но вот двое услышали шаги часового совсем рядом. Орешко в нетерпении подтолкнул Ходкевича. Но Андрей выждал еще немного, он словно никак не мог решиться сделать то, что должен был. Ходкевич никогда не убивал и вдруг почувствовал, как трудно решиться на это, даже если перед тобой враг. На какие-то мгновения его руки и плечи точно одеревенели, и он почти вслепую настиг часового, ударил в спину ножом, когда тот уже собирался повернуть обратно к крыльцу...

Страхнув оцепенение, Ходкевич снял с убитого часового автомат, машинально распахнул по карманам телогрейки запасные магазины. Он видел лицо немца, на которое падал свет висящей над крыльцом тусклой лампочки.

— Господи, прости, молодой совсем...

Орешко торопил Андрея.

Они взбежали по ступенькам на крыльцо, прислушались, осторожно открыли дверь и вошли внутрь.

Слева за невысокой загородкой различили в блеклом свете геросинки дежурного полицая. Он заснул за столом, положив голову на скрещенные руки.

Впотьмах Максим задел табуретку — она со стуком опрокинулась. Полицай поднял голову, с трудом разлепляя мутные, непонимающие глаза. Партизаны узнали в нем Будкевича, заведовавшего до войны бакалейной лавкой. Начиная приходить в себя, тот стал подниматься с места, завел назад правую руку, пытаясь нащупать кобуру пистолета. Ходкевич бросился к полицая и успел опередить Будкевича, закрыв ему рот левой рукой, а правой ударив ножом в спину.

Будкевич застонал, обмяк, и Ходкевич, не решаясь бросить полицая, осторожно уложил его на пол.

— Где они? — торопливо спросил Орешко, как будто Ходкевич мог знать ответ.

— Тише ты, — не сразу соображая, о чем речь, оговзался Ходкевич. — Тут, видать, — кивнул на дверь позади лежащего полицая.

На двери с висячим замком поблескивало маленькое, с чайное блюдечко, зарешеченное оконце. Ходкевич загнал под скобу нож, с силой потянул на себя. Противно скрипнул металл о металл, но скоба не поддавалась. Ходкевич вытащил нож, попро-

бывал просунуть ствол «шмайссера» — нет, не идет. Снова взялся за нож.

Удар и пауза — придержать нож. Удар и пауза, удар — скоба поддалась!

Распахнув дверь, они увидели в полоске блеклого света полужающих на тряпье у стены мужчину и женщину. Прижавшись друг к другу, те с надеждой и испугом смотрели на вошедших.

— Подъем, товарищи! — радостным шепотом скомандовал Ходкевич.

— Только быстро! Быстро! — почти выкрикнул Максим.

Он шел первым. Перешагнул через убитого полицая и оказался у двери, приоткрыл ее — на площади безлюдно. Тихо выскользнул наружу, оглянулся. За ним шли остальные.

Тут в коридоре раздалась шаркающие шаги, кашляние, справа в проеме двери показался дюжий полицай. Различив чужаков, полицай протер глаза. Вытолкнув женщину, Ходкевич метнул в него нож. Спяну или со сна тот не сумел увернуться — лезвие угодило в плечо. Застонав, полицай рванулся обратно.

Ходкевич перескочил через невысокие перильца на крыльце и бросился бежать. Орешко с учителями успели добраться до выходящей на площадь улицы, где находились Мороз и Наркевич. Сзади раздалась выстрелы. Ходкевич почувствовал, как обожгло правый бок. Следом ударила автоматная очередь, пуля угодила Андрею сзади в левое плечо. Он как раз добежал до угла улицы, за забором. Боли Ходкевич почти не чувствовал. Впереди он увидел комиссара.

— Андрей Иванович! — крикнул тот. — Подналяг!

Через калитку ворвались в какой-то двор, проскочили его и, обогнув хату, оказались в огороде.

Вокруг лаяли собаки. Доносились ругань полицаяев, гулкие винтовочные выстрелы и беспорядочные автоматные очереди. Полицайи, очевидно, не могли установить, куда скрылись партизаны.

— Антон, — не удержался Ходкевич, — убил я... Этого собаку Будкевича... Он и не вякнул...

— Да ну?! — обернулся Мороз. — Раньше первый, сука, флаги красные вывешивал... по праздникам... Патриот...

— Душу прятал! Ох, сволочь, рука немеет...

— Потерпи, Иванович, потерпи!..

— Да терплю!.. Хоть одну сволочь порешил... А знаешь, Антон... жутко. Обличье-то человеческое...

— Только обличье и осталось. Ненавижу их, прихвостней паршивых! За кусок сала мать не пожалеют.

Миновали еще один огород. Позади послышались крики: «Правей, правой бери! Там они!.. Да вон жа-а!..»

Где-то застучал мотоцикл.

Проскочили узкий двор с разбросанными дровами и старыми колесами от телеги, оказались на параллельной улице и рванули вправо — все ближе и ближе была река, а за нею — лес.

Каждый шаг давался Ходкевичу с трудом. Боль острыми, резкими стежками впивалась в плечо. Расстояние между ними и бегущими впереди росло.

— Поднажми, поднажми, родной! — сбиваясь с дыхания, просил Мороз. — Поднажми!..

— Ты, Антон, давай вперед. Я догоню, догоню!

— Еще что? З глузду съехал¹?! Вон река!..

Когда до берега оставалось около пятидесяти шагов и они поняли, что остальные уже перешли реку, их заметили. Но отрыв был все еще большим и мешал прицельной стрельбе. Пули свистели над ними.

У самого берега, зацепившись в темноте за корягу, Мороз упал, в кровь рассадив ладонь и поцарапав лицо.

— Фу, черт, ноги не держат, гори они! — вскопчил, ругаясь, Антон. — Ну, поднажми чуток, Иваныч! Давай, родной!..

Река. Почти скатились в воду. Она обожгла холодом, но люди словно не обращали на это внимание и упрямо шли по дну к другому берегу.

Пробираясь через заросли лозняка, они натолкнулись на Максима Орешко.

— Где остальные? — хрипло спросил Мороз.

— Все ушли, комиссар.

— Кто все? — словно не верил Мороз. Руками он стряхивал с себя воду. В сапогах хлюпало.

— Учителя, Слизков, Голубович, Наркевич. Все! — отскакивал Максим.

— Молодцы! — Мороз посмотрел назад. — Надо задержать собак. Нельзя дать увязаться.

— Давай я, — сказал Ходкевич. — Я все одно покуроченный.

— Нет, — резко сказал комиссар. — Останусь я. Идите. Я прикрою, а потом догоню. Не теряйте времени!

— Дурнота! — спокойно возразил Ходкевич. — Тебе нельзя, комиссар. За тобой люди, отряд.

— Ты ранен. Останусь я. Задержу — и следом. Отходите. Приказываю!

— Тогда хоть с Максимом, — Ходкевич поморщился: ныла рука. — Вдвоем и есть вдвоем.

Мороз посмотрел на Максима и кивнул. Ходкевич сказал:

— Только вы, хлопцы, не очень. Попужайте и — в лес. Ага?..

Левая его рука болела все острее, вдобавок он намочил ее, переходя реку.

— Ага, Иваныч, ага! — согласился Антон. — Давай, жми отсюда. А мы их встретим!..

Ходкевич отдал Морозу «шмайссер», патроны, забрал винтовку и, озираясь, двинулся в лес.

Мороз и Орешко вернулись к лозняку. Молча залегли бок о бок.

К реке, там, где только что бежали партизаны, спускались темные пятна. Мороз насчитал их пять. Одно взял на прицел и нажал на крючок.

Силуэт резко и странно осел — точно его на полном ходу кто-то повалил на землю. Донесся шум падающего тела, пятна на откосе слились с темнотой. Притаились и двое в лозняке. Любая

¹ З глузду съехал (бел.) — с ума сошел.

выигранная секунда приближала к спасению их и тех, кто пробирался сейчас по ночному лесу.

«Пристрелят тут, возьмут и пристрелят, — подумал вдруг Максим с тоской. Ему вспомнилось, как падал на песчаный берег красноармеец с перебинтованной головой. — Пристрелят, а потом еще, гады, сожгут. Не закопают же по-христиански. Никто и не узнает... Отца убили, гады... У комиссара семья какая — одних братьев сколько... Я один теперь... один... Никто и не увидит...»

Он повернул лицо к Морозу, позвал:

— Комиссар... Ты прав. Зачем... зачем двоим-то? Неумно... Да и вроде уж дали им по ушам. Может, по одному тикать будем, а? Я пойду, может?.. Зоська... там... одна... Одна Зоська... Наши уже смылись, никто не догонит... Ты тут раз-два... и в лес... за мной... А?

— Зоська? — с трудом вникая в смысл его слов, переспросил Мороз. — А вон ты что!.. Ну уползай, уползай. Давай, уползай!..

Пятясь на четвереньках, Максим выскользнул из кустарника и, привстав, бесшумными стелющимися шагами побежал в лес.

Мороз услышал за рекой треск. На косогор, ведущий к реке, выскочил мотоцикл. Из коляски длинной очередью застучал ручной пулемет. Мороз ответил, и ему опять повезло — он попал в колесо машины. Мотоцикл резко развернулся и опрокинулся — водитель слетел с сиденья, стрелка придавило мотоциклом.

Мороз решил поменять позицию и рывком перекатился вправо. В то место, откуда он только что стрелял, ударили из нескольких стволов.

Антон пустил веером длинную очередь, не давая врагам собраться вместе. Они, видимо, еще не понимали, сколько партизан им противостоит.

Вжик-вжик-вжик... Вжик-вжик... Посыпались на голову срезанные ветки.

Он снова поменял место и снова дал очередь. У реки кто-то вскрикнул от боли.

Можно отступать, решил он, остальные должны уже уйти далеко. Только бы Ходкевич догнал их!

Как только подумал об этом, вдруг сделалось страшно — ведь могут убить.

Страшнее всего, если пуля угодит в позвоночник. Тогда не пошевелишься. И будешь ссытывать здесь, на холодной траве-щетине, в двух шагах от леса, за кромкой которого спасение. И враги рядом.

Что скажет Лучинец? Разве имел право он, комиссар, в такой ситуации жертвовать собой?

А в какой жертвуют? Кто знает?..

Он еще раз сменил позицию и обстрелял врагов, а затем снова переполз в другое место и опять, стараясь бить наверняка, дал очередь в укрывшихся за мотоциклом и на косогоре. Ему ответили тремя короткими, прицельными очередями — на голову посыпались срезанные ветки. Перекатившись вправо, он за-

менил магазин, пустил еще одну длинную очередь и опять рывком отполз метра на два.

Затем чуть боком, не выпуская врагов из поля зрения, Антон стал отходить, а когда оказался на более-менее ровной поляне, резко поднялся и нанскосок побежал в лес.

Удалившись, наверное, на полкилометра от реки, Мороз услышал где-то близко приглушенный стон. Неужели Ходкевич? Не может быть! Хотя он мог потерять много крови и не догнать своих.

Мороз пошел на стон, меняя на всякий случай магазин в автомате — это был последний.

Антон едва не наступил на человека, лежавшего на небольшой, зажатой густым перелеском поляне среди жухлого папоротника. Приподняв человека и повернув окровавленным лицом к себе, он не сразу понял, кто перед ним. Постепенно он узнавал знакомые черты, потом различил большой, слипшийся от крови чуб. Придерживая раненого за спину, Антон почувствовал на руке что-то липкое, поднес ладонь к глазам и скорее ощутил, чем увидел, что это кровь. Максим был ранен в спину.

— Орешко! — позвал Мороз! — Максим!

Один глаз раненого приоткрылся, он попробовал что-то сказать, но только прохрипел:

— Жить... жи... помоги... — а потом точно выдохнул: — Никто...

— Максим! Максим!

Орешко молчал.

Мороз с трудом взвалил его на себя, сделал шаг по словно просевшей под ним мягкой земле.

Максим был очень тяжелым. Спустя десяток шагов Мороз опустил его на траву и, стараясь не причинить боли, снял с раненого телогрейку. Рану, надо перевязать рану!

Комиссар разделся, снял нательную рубашку и, разорвав ее, перевязал Максиму рану на спине — пуля вошла сантиметром на десять ниже правой лопатки. Забинтовать лицо никак не удавалось — повязка не держалась, соскальзывала. Мороз проклинал себя, вспоминая, как гонял своих райкомовцев на санитарные курсы, а сам так и не научился простому, но столь необходимому теперь умению.

Антон надел на голое тело ватник, сырой и холодный, взвалил на себя Максима. Сделал шаг, еще один...

Прошло около часа. Сквозь загустевающую пелену в сознании — перед глазами подпрыгивали мельчайшие слепящие солнца, и Мороз из последних сил старался выдерживать правильное направление, — комиссар почувствовал, как обмяк Орешко, прервалось его тяжелое, почти судорожное дыхание, и он стал еще тяжелее. Тогда Мороз до боли в немеющих пальцах сжал одежду Орешко, боясь уронить эту ношу.

Он дотащил Максима до первого поста, когда уже занялось утро, и впервые за последние недели из-за туч выскользнули, то и дело перебиваясь, робкие, трепетные, как паутинки, солнечные лучи. Мороз уже не почувствовал этого, как и не узнал лица постового партизана, с трудом признавшего в шатающем-

ся, изможденном, словно потерявшем зрение человеке комиссара своего отряда.

Тук-тук, тук-тук... Сквозь предзакатную пелену всадники видят старую тополиную рощу. Окраина Симоновки! Они смотрят друг на друга, словно не веря своим глазам. Наконец! — радость наполняет их. До цели доскакало всего двое — совсем недавно погиб, загнанный, еще один конь. Но этот человек с медицинским саквояжем и красивыми гладкими руками — вот он, рядом. Доктор Кэ Кэ Серафимов!

Окраина. Белая хата. Раскидистые вишни. Под ними, в холодке — телега... Но никто не бросается навстречу всадникам. На телеге два порубанных тела — одно рядом с другим — породненные смертной кровью. Нет больше девушки. Зарублен белыми и тот, кто любил ее. Погиб их юный товарищ, первым потерявший в степи скакуна, — лежит под вишней с наганом в мертвой руке... Опоздали быстрые всадники. Не успели... Тихо-тихо шелестит листьями вишня. Кругом бесконечная южно-украинская степь. Знойное лето, вечереет, трещат цикады...

...Открыв глаза и осознав, что находится в собственной землянке, Антон Мороз с большим трудом восстанавливал в памяти события минувшей ночи.

Дверь землянки отворилась. Антон узнал в вошедшей тетку Полину. Привстал на лежанке, преодолевая ломоту в теле.

— Здравствуй, здравствуй, голубь мой!

— Здравствуйте, тетка Полина! Рад видеть вас!

— Как ты, сынок?

— Да как? Слава богу, жив. Разлеживаться некогда.

— Я вот похлебки принесла тебе грибной да хлеба свежего.

— Спасибо вам, тетка Полина. Садитесь. Как Ходкевич?

— В жару мечется... Пока плохо... Учителя возле него хлопчут. Как бы не помер... А Лучинец... Лучинец погиб. Нет больше командира...

Она повернулась к Морозу, ее губы тряслись мелкой дрожью.

— А Зоська... Зосенька, девочка моя, ходит, все про Максима спрашивает... Не в себе совсем... Насилу уложила ее...

Тетка Полина не смогла сдержать рыданий и уткнулась лицом в накидку у него в ногах...

Он еще не знал, скажет ли когда-нибудь всю правду о бегстве Максима и перестрелке у реки. Всю? Что значит всю? Всей правды, наверное, никто и никогда не узнает.

Даже он сам о себе...

Где же моя дудочка?.. почему я не играю на ней?.. а где же Максим?.. вставай, Максимка, вставай, я сыграю тебе на дудочке... фью-фью-фью, фью-фью-фью... как хорошо, правда? Мама улыбалась, а я смутилась, глупая... вставай, Максимка, мы пойдем к маме, и я вам сыграю на дудочке... фью-фью, фью-фью-фью, фью-фью... но где же дудочка?.. ну, вставай же, любимый, вставай... И почему я не узнаю тебя?.. Вставай, разве ты не живой? Не живой? Не живой?..

МАЛЕЕВСКИЕ ДЕБЮТЫ

Уже шесть лет существует Всесоюзный семинар молодых литераторов, работающих в жанре приключений и научной фантастики. С прошлого года он носит имя Ивана Антоновича Ефремова. Мы собирали молодых авторов сначала в Доме творчества «Малеевка» под Москвой, последние три года — в Доме творчества «Дубулты» под Ригой, но по традиции круг людей, прошедших школу нашего семинара, зовет себя малеевцами. Круг этот немаленький — 150 фантастов, около сорока «приключенцев»... По логике сюда следует причислить и руководителей — В. Д. Михайлова, С. А. Снегова, Г. М. Пращкевича, Л. Т. Исарову, П. А. Шестакова. Первым в этом списке следовало бы назвать Д. А. Биленкина — прекрасного фантаста, настоящего наставника молодых. В прошлом году Дмитрия Александровича не стало.

Конечно, семинар — не инкубатор. Не следует представлять дело так, что каждый год мы выпускаем в свет четыре десятка писателей-бройлеров. Попадают люди случайные, приезжали авторы с чрезмерно завышенным самомнением, но с весьма скудной мерой таланта. Однако те, за кого можно поручиться, — это пять десятков фантастов и примерно двадцать «приключенцев» — люди одаренные, с четкой гражданской позицией, с уверенной уже рукой. Авторы пытливые и смелые, ищущие новых путей...

Каждый год бывает несколько настоящих открытий, без скидок на возраст и поправок на профессиональный опыт.

Александр Тарасенко. Пишет несколько лет, в двери семинара стучался года два. Первые опыты были весьма средненькими — стандартные пришельцы, обязательные земляне-«прогрессоры» на других планетах... И вдруг — быстрый рост. («Вдруг» — конечно, для стороннего наблюдателя, мы, признаемся, ожидали прогресса). К Тарасенко пришло ощущение стиля, в рассказах стала формироваться Судьба человеческая — драгоценное обретение, без которого настоящему писателю не быть.

Владислав Петров — ветеран «Малеевки». Он был участником первого семинара в 1982 году. Он полностью оправдал наши надежды: по-писательски возмужал, обрел уверенность, его проза носит ныне черты тонкого психологизма — качество, от века присущее лучшей фантастике и, увы, весьма редкое.

Ежегодным встречам предшествует длительная подготовительная работа: поиск авторов, оценка рукописей, тщательный отбор кандидатов. Таким именно образом и «нашелся» Георгий Вирен, который прислал свою первую повесть «Путь единорога» в «Искатель». Она включена в семинарскую подборку как бы авансом: Вирен поедет в Дубулты только в этом году.

Н. М. Беркова,
заместитель председателя Совета по приключенческой
и научно-фантастической литературе СП СССР,
руководитель семинара

Георгий ВИРЕН

ПУТЬ ЕДИНОРОГА

Фантастическая повесть

Зрителей на стадионе было трое. Они сидели бок о бок, в серых плащах с поднятыми воротниками и молча смотрели на пустое поле. Стадион был маленький, неухоженный. Дождь залядил моросить с ночи, шел все утро, а теперь с неба летела мокрая пыль. Старик, сидевший посередине, поглядел на часы, и сосед слева — лет сорока, с лицом, пухлым, как булка, поспешно успокоил:

— Сейчас начнут, сейчас...

И тут же раздался треск мотора. Из-под трибун неторопливо выехал странный серый автомобильчик, похожий на сильно вытянутую каплю — узкий, почти острый спереди и толстый, круглый сзади. Он ехал осторожно, словно пробуя гаревую дорожку, сделал круг, еще один, стал набирать скорость, все быстрее, быстрее...

Старик вздохнул.

Третий круг автомобиль прошел стремительно, будто и правда превратился в невесомую каплю, гонимую ураганом. Звук мотора стал тонким, зудящим... Из задней части машины выдвинулось нечто вроде крыльев, она задрожала на ходу и вдруг оторвалась от земли, быстро и плавно взлетела метра на три и легла в крутой вираж. Круг за кругом, подымаясь все выше, она облетела стадион. Потом быстро снизилась, резко ударилась задними колесами о землю, подскочила и покатила по дорожке, снижая скорость. Крылья спрятались. Автомобиль остановился и постоял, как будто в ожидании. Трое на трибуне не двинулись. Наконец поднялась дверца машины, оттуда выбрались двое водителей, постучали ногами о колеса, что-то сказали друг другу и медленно направились к зрителям. Первым шел высокий парень с испачканным лбом и улыбался.

— Ну как? — довольно крикнул он еще издали.

Старик поднялся, его спутники тоже.

— Стоило мокнуть, — мрачно сказал он и пошел к выходу. Улыбка исчезла с лица чумазого парня, он подбежал к оставшимся.

— Постойте, товарищи! Вы же обещали...

Человек-булка развел руками, а второй — аскетичный брюнет вежливо пояснил:

— Это не то, что мы ищем...

— Да чего искать, чего искать-то? — заволновался водитель. — Наш «Икар» по своим параметрам не имеет аналогов в отечественном автостроении и выигрывает у машин зарубежных! Да вы что, товарищи! И мы это все — своими руками! Каждую

детальку! В сарае, без всяких условий! Если нам базу дать, так мы...

— Брось, Коля, не унижайся, — зло крикнул его напарник. — Ты же видишь — этим чинодралам на все начхать!

— Ну зачем же так! — Человек-булка всплеснул руками. — Вы меня простите, но вы нас и Николая Николаевича ввели в заблуждение. Может быть, невольно, я понимаю, но все-таки, все-таки! Вы обещали показать нам уникальное достижение человеческой мысли, так? А показали всего лишь автомобиль, ну пусть даже летающий...

— Ни фиги себе! — возмутился Коля. — Ну если это не уникальное достижение, то я не знаю, какого рожна вам надо! Это же «Шаттл» советских магистралей! Неужели непонятно? Это же революция на транспорте, ё моё!

— Мы этим не за-ни-ма-ем-ся! — как глухим, крикнул «булка».

— Но хоть как-то помочь вы можете? — сбавил тон Коля. — Ведь этот ваш... Николай Николаевич, вы говорили — академик?

— Да, академик. А мы вот — доктора наук. Но мы не занимаемся автомобилями...

— Но связи у вас небось есть... Ведь мы ради дела старались, — сказал Коля совсем жалко, и напарник его аж плюнул от злости.

— Хорошо, — сказал брюнет. — Я попрошу Николая Николаевича позвонить... Кому звонить? — спросил он «булку».

Тот пожал плечами.

— Может, в КБ АЗЛК? — подсказал Коля.

Брюнет нервно дернул головой.

— Я не знаю, что такое АЗЛК. Николай Николаевич позвонит заместителю Предсовмина, который курирует автомобильную промышленность, и тот вас примет.

— Правда, что ли? — недоверчиво хмыкнул Коля.

— Вы только серьезно подготовьтесь к разговору, продумайте ваши аргументы, представьте техническую документацию...

— Да мы уж, конечно, — начал было воспрявший Коля, но брюнет оборвал его:

— Будьте здоровы. Мы свяжемся с вами.

Старик, то бишь Николай Николаевич, ждал в «Волге» у ворот стадиона. Когда «булка» и брюнет забрались на заднее сиденье, он сказал шоферу: «В институт» — и уткнулся в цветастый шарфик. Все молчали. Разбрызгивая лужи, «Волга» выбралась на шоссе.

— Прагматики чертовы! — вдруг буркнул академик. — А ты, Семен, тоже хорош — клюнул!

— Николай Николаевич! — попытался оправдаться «булка». — Они темнили. Говорили, что покажут нечто сверхъестественное, а что именно — отказывались сказать...

— Мне это приглашение на стадион сразу не понравилось, — сказал брюнет.

— Разве дело в месте, Костя? — уныло ответил Семен.

— Люди сориентированы на немедленную практическую пользу, — неожиданно академик заговорил чеканным лекционным тоном. — Это беда современного мышления. Человек ограничен

пракисом, не желает заглянуть за его границы. Технократический образ мысли резко снизил его реальные возможности...

— Они не виноваты, — вздохнул Семен.

— Виноваты! Во всем, что происходит с людьми, виноваты сами люди и никто другой — просто некому больше, — рассердился академик и вдруг спросил с упреком: — Костя, ты ищешь Зеркальщика?

— Пока безуспешно, — сухо ответил брюнет.

— По-моему, это миф, — сказал Семен.

— Вот и докажи, что миф! Бросай своих Монгольфье и экстрасенсов, присоединяйся к Косте.

— Хорошо, Николай Николаевич. Но я почти уверен, что все эти слухи — бред.

— А нам и нужен бред! — тонко крикнул старик. — Нам не нужны изобретатели порхающих сенокосилок и ночных горшков с дистанционным управлением! Мы должны иметь дело только с чудовищным, невообразимым бредом, с нелепицей, с абракадаброй! Только там нужно искать! Только там!

Матвею приснилась зима. И еще во сне, малым, неуснувшим краем сознания он понял: зима пришла наяву. Утром открыл глаза и увидел, что комнату залил прозрачный свет — не такой, как в прежние дни мутной осени. Матвей встал, тронул ладонями печку — она ответила угасающим теплом: выстыла за ночь. В окно увидел, что и ждал: покрытые тонким снегом огород, дровяной сарайчик, дорожку. Накинув тулуп, Матвей вышел в сени, открыл дверь и постоял на пороге. Втягивал свежий запах снега, пропитывался им. Не хотел сделать ни шагу за порог, чтоб не нарушить чистый покров, брошенный на семь ступенек крыльца. Скоро замерз и похромал в дом.

Он ждал эту зиму, с августовской теплыни ждал, через бабье лето и промозглый, дождливый октябрь. С тайной радостью видел отъезжающих дачников, обнаруживал по вечерам, что вот еще один дом стал темным, и еще, и еще. Он знал, что совсем один не останется, но все-таки жизнь замрет, затанется зимой, опустеет и вымерзнет. Не раз уже снилась ему много-снежная зима с сугробами до окон и гулом метелей, и виделась почему-то свечечка в его окне, затепленная, как лампада у церковных врат. Зима снилась безлюдная, исчерканная заячьими и лисьими следами, примятая волчьими лапами. Иногда он говорил с собой, называя себя, как мать звала, а больше никто и никогда: Матюшкой. Осенью часто ныла увечная нога, и он заговаривал боль, успокаивал себя: «Подожди, Матюшка, придет зима — сразу легче станет». И казалось ясным, что зиму он ждет просто из-за ноги, вот и все, ничего больше. Но тем же самым не спящим ни во сне, ни наяву краешком сознания знал он, что ни при чем тут боль (ему ли, горящим комком выбросившемуся из охваченного пламенем истребителя, ему ли, дважды при ясном рассудке уходившему в клиническую смерть, перенесшему десяток операций, ему ли бояться боли?), а дело в том, что... Не мог он сказать, а только чувствовал, как зверь, чуял, что сейчас нужна зима. Потому что она — одиночество и покой, и заброшенность, и свечечка грошовая, от покойницы

бабки Груни оставшаяся. А все это вместе — исцеление. Не от болей — с ними свыкся, с ними и в могилу, — от смуты душевной, от наваждений минувшего года.

И вот теперь пришла зима, и он знал, кто остался в поселке. На сорок домов — четыре живых души.

Старуха Ядвига Витольдовна — сморщенный остаток человека, — прожившая жизнь такую страшную, что Матвей побаивался узнавать подробности — берег себя от еще одной беды. Старуха уже много лет была почти невидима: о том, что она пока существует на свете, соседи узнавали — зимой по расчищенной дорожке от калитки до дома, а летом по раскрытому в любую погоду окну на веранде. Продукты ей обычно приносила почтальонша, а сама старуха с участка почти не выходила. За все прошлое лето Матвей видел ее один раз, да и то мелком — в заросшем саду заметил сгорбленную фигурку с огромной лейкой. Впрочем, зимой Ядвига Витольдовна изредка гуляла по поселку. С Матвеем она раскланивалась дружески: года два назад он починил ей радиоприемник.

Дядя Коля Паничкин — ветеран пьянства. «Первую рюмку, — счастливо вспоминая он, — опростал я на масляной в двадцать третий год! Ты вникни, вникни — это ж какой стаж! Ты посчитай — ахнешь! Седьмой десяток пошел. А было мне тогда неполных тринадцать лет». В поселке уже не осталось никого, кому б дядя Коля не впечатал навеки в память эту масляную двадцать третьего года. Каждую весну он отмечал юбилей того события, и до глубокой ночи над поселком разносилось: «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью...» Дядя Коля сознательно пел не «былью», а «пылью», вкладывая в это особый антирелигиозный смысл, так как под «сказкой» разумел конкретно Библию, а также все имеющее отношение к вере. Он любил рассказывать, как в годы зазорной комсомольской юности они всей ячейкой «распатронили» соседнюю церковь, и было понятно, что воспоминание греет ветерана. В конце лета дядя Коля обходил дома поселка и просил у хозяев по пятерке, обещая всю зиму сторожить от покражи. За такую цену никто не отказывал, и дядя Коля с карманами, полными пятерок, направлялся к магазину. Если же зимой какой-то дом все-таки взламывали (шпана из райцентра набегала), то дядя Коля шел к хозяевам каяться: «Виноват! Оплошал, не уберег добро, родные мои! Вертаю средства, совесть не позволяет, раз оплошал!» — и благородно возвращал деньги. Поскольку за зиму обычно обкрадывали только две-три дачи, то дядя Коля не оставался внакладе.

Ренат Касимов, приятель и ровесник Матвея, филолог. Он так устроился в своем институте, что ездил туда раз или два в неделю, а остальное время сидел в огромном пустом доме и писал — который год писал исследование о временных отношениях в поэзии. Дача сначала была не Рената, а его жены. При разводе от отдал ей все, нажитое двадцатилетними научными трудами: квартиру, мебель, машину и попросил только дачу. Он вселился туда с чемоданом одежды и несколькими сотнями книг.

А четвертая живая душа — он, Матвей Басманов, военный пенсионер, майор в отставке, сорокадвухлетний летчик-испыта-

тель, списанный по инвалидности семь лет назад после катастрофы. Он давно снимал комнатенку у одинокой тети Груни — сначала на лето, а потом и вовсе переехал сюда из подмосковного городка, где у него была квартира. А перед смертью тетя Груня возьми, да и завещай ему дом.

Матвей растопил печку и, сгорбившись, сидел перед ней на низкой скамеечке, одно за другим бросал в пламя березовые полешки. Огонь заворожил его. Матвей вроде и собирался пойти на кухню согреть себе чаю, позавтракать, но вот никак не мог оторваться от огня. Нога совсем не болела, жар из печки разливался по лицу, по груди приятным теплом, и Матвей подумал, какая же странная штука — исполнение желаний. С каким судорожным отчаянием ждал он новой поры, немо звала ее, и вот она пришла, а он как будто не готов. А он как будто медлит вступить в нее, и что это с ним — растерянность счастья? Страх обмануться?

— Эх, Матюшка, нелепый ты человек, — громко сказал он и, резко оттолкнувшись обеими руками, встал со скамейки. Сильно, с хрустом потянулся, как в молодости, и сразу ощутил себя здоровым и простым. И удивительное дело — тут же захотелось ему видеть людей, захотелось поговорить, и он решил пойти к Ренату — позвать к завтраку, а то небось сидит на книжках в холодной даче и зубы на полку.

И вдруг вспомнил про Карата, резво захромал к двери, спустился по крыльцу, погубив нежный снег, и крикнул, направляясь к будке:

— А где же моя собачка? У нас же сегодня новоселье с моей собачкой!

Карат — овчарка-полукровка — рванулся на цепи из будки, заурчал, забил хвостом, взметывая снег, запрыгал и даже гавкнул от радости. Матвей схватил его за толстую шею, потрепал по густой шерсти, отстегнул ошейник, и Карат вырвался, стремительно обежал участок, оставляя крупные ясные следы. Летом и осенью Карата держали в будке, а на зиму переводили в дом, в сени — такой порядок завела тетя Груня, и Матвей следовал ему. Он с удовольствием следил за Каратом, который носился по участку, принимался к новому времени года, пощеничь радовался... «Вот и хорошо, так и надо», — бормотал Матвей. Потом отвязал цепь от будки, взял миску с обглоданной костью и, многозначительно поглядывая на Карата, понес все это в дом. Карат понял перемену жизни и, ошалеv от радости, бросился на Матвея, чуть не сшиб его мощными лапами. Матвей достал из кладовки толстый половик, положил его в сени, рядом поставил миску, накрепко привязал к специальному кольцу цепь и опять поймал собаку за шерстяную шею: «Вот теперь мы вдвоем будем, собачара, теперь вместе в доме», — и в довершение праздника отрезал Карату здоровый ломоть колбасы. Потом посадил пса на цепь и пошел через три дома — к Ренату.

Никто еще не ходил по улице, только кошачий след тянулся с краю.

— Эй ты, саям-алейкум, зиму проспишь! — закричал Матвей, стуча кулаком в дверь. Послышалось шарканье, стук запора, дверь отворилась, и появился Ренат в ватнике на голое тело.

— Заходи, заходи, — восторженно сказал он и побежал обратно. — Ты вот как раз вовремя, заходи, — крикнул уже из комнаты. — Иди-ка сюда, послушай, как интересно...

Матвей плюхнулся на продавленный диван, а Ренат, сидя на колченогом стуле напротив, уже настраивал гитару.

— Хорошо живешь — песни с утра...

— Ты погоди! Вот послушай — только внимательно...

Ренат, как слепой акын, запрокинул голову и запел медленно и монотонно, растягивая слова, рокоушим басом, какой появлялся у него только при пении.

— Понедельник, понедельник, понедельник дорогой...

При первых словах Матвей скривился, как от боли, но быстро взял себя в руки и опустил лицо, стал глядеть в пол. Ренат этого не заметил.

— ...Ты пошли мне, понедельник,

Непогоду и покой.

Чтобы роща осыпалась,

Холодея на ветру,

Чтоб спала, не просыпалась

Дорогая поутру...

Дорогая поутру.

— А теперь скажи, — торжествуя, продолжил Ренат, — когда это написано?

— Лет пятнадцать назад, может, больше, — мрачно ответил Матвей.

— Я не про то! — отмахнулся Ренат. — В какой день недели, в какую погоду?

— Шут его знает, — пожал плечами Матвей. — В понедельник, наверное... с утра...

— Вот! И я так думал! Но это чушь! Стихотворение написано в воскресенье, поздно вечером, даже ночью! То есть написано оно могло быть хоть в среду, по настроению — в воскресенье ночью. В дождь! И ветер — резкий, осенний! Листья не осыпаются — их срывает, несет, они липнут к заборам, к дороге, к деревьям. А вечером, только что, было тягостное, долгое выяснение отношений с этой женщиной, мучительное объяснение, не первое уже, понимаешь? И тогда ночью — мольба о понедельнике! Обращение в будущее: пусть будет непогода, пусть холод, но пусть — покой! Мольба о покое, понимаешь?

— Вроде так...

— Только так и именно так!

— Ну а что потом?

— Потом — суп с котом, — чуть-чуть обиделся Ренат. — Это для меня важно, подтверждает мою мысль. Попросту говоря, эмоциональный эффект достигается симультанно со сдвигом по временной координате.

— Действительно просто, как я, дурак, не догадался? — Матвей наконец улыбнулся. — Обычный сдвиг по координате.

— Вот ты смеешься, а это чрезвычайно интересно!

— Кто спорит, — Матвей встал и взял Рената за плечо. — Пошли ко мне завтракать, а то загнешься без жратвы, симультанный ты мой.

Ренат хотел пойти, как сидел — в ватнике на голое тело, но Матвей удержал его.

— Очнись, саялам-алейкум, зима на дворе!

— Неужели? — Ренат подслеповато глянул за окно. — И правда — бело...

На улице он все приглядывался к снегу, вдруг заметил следы и обрадованно закричал:

— По кошачьим следам и по лисьим,

По кошачьим и лисьим следам

Возвращаюсь я с пачкою писем

В дом, где волю я радости дам!

И счастливо засмеялся, сморщив плоский носик. Глядя на него, Матвей заставил себя тоже засмеяться, а Карат, услышав голоса, загавкал, тут же раздался близкий вороний грей, и первая зимняя тишина заходила ходуном, рухнула, рассыпалась, и вот так они вошли в новое время года.

— Товарищи, она действительно чудеса творит, то есть без всякого преувеличения. — Семен вытер потный лоб и расстегнул воротник под галстуком.

— Что это ты, Сема, вроде нервничаешь? — подозрительно сказал Костя.

— Ну при чем тут, при чем? — Семен ослабил галстук и укоризненно покачал головой.

Академик глубоко вздохнул и вяло откинулся в кресле.

— Хорошо, Семен Борисович, давайте ее.

Семен открыл дверь и крикнул в коридор:

— Антонина Романовна, заходите, пожалуйте.

Круглолицая женщина в темном платке, мужском пиджаке и длинной серой юбке, в сапогах, как вошла, сразу встала у порога и опасливо оглядела кабинет, полный стеклянных шкафов с ретортами, пробирками и какими-то блестящими металлическими инструментами, какие у зубных врачей бывают. Женщина остановила взгляд на академике и его помощнике, сидевших за длинным столом, и поклонилась.

— Здравствуйте вам.

— Проходите, Антонина Романовна. — Семен легонько подтолкнул ее к столу.

Женщине можно было дать и сорок лет, и шестьдесят. Она села, сжав колени, и стала тереть край пиджака.

— Ну, голубушка, расскажите о себе, — сказал академик и вдруг старчески трогательно улыбнулся.

— Чего рассказывать-то, — ответила похужей улыбкой женщина, — из Семиряевки мы.

— А где трудитесь, кем?

— В совхозе у нас, скотницей, — она поправила платок и добавила: — Имени Семнадцатого съезда совхоз. Речицкого района.

— Ну так, голубушка, покажите нам что-нибудь из своих умений. — Академик вынул из наружного кармана пиджака очки и положил их на середину стола.

— Двигать, что ль? — опасливо спросила Антонина Романовна, кивнув на очки.

— Если сможете, — осторожно ответил академик.

— Не, очки не буду жалко...

— А почему? — удивился он.

— Вещь нужная, а разобьются, — смущенно пояснила женщина. — Я ж как двину, они и полетят... вона... в угол, — показала она в дальний конец комнаты.

— А потише не получится? — иронично спросил Костя.

— Нет, никак не получится, — решительно сказала Антонина Романовна. — А потом у меня на них злости нету, от очков польза людям... Людям, — поправились опять смущенно.

— А вы обязательно должны разозлиться? — заинтересовался академик.

— Ага, — виновато кивнула женщина. — Лучше всего — если по-настоящему. Но можно и так... невзаправду. Чтоб подумать — мол, ах ты, зараза этакая, пошла с моих глаз... Ну и тогда выходит. А лучше — взаправду. О прошлом годе у нас дожди были, а асфальт звон когда проложить обещались, еще при Хрущеве, а все нету его, асфальту, вот и застряла машина. С картошкой машина-то, Витьки моего, старшего. Он и так непутевый, а тут еще скажут — мол, все люди ездют, а тебя, косорукого, тягачом выволакивать надо. Такое меня зло взяло — я как глянула, так ее будто танком потащило — метров на десять, — Антонина Романовна засмеялась и сразу прикрыла рот ладошкой.

— Ну хорошо, хорошо, Антонина Романовна, давайте все же попробуем... ну вот, хотя бы сей предмет, — академик поднял с пола на стол пузатый портфель. — Тут ничего нет бьющегося, не бойтесь.

— Портфель? — как будто у самой себя спросила женщина и опустила глаза. — Это ладно, это можно...

Она резко подняла лицо, из ее глаз полыхнула такая ненависть, что Костя, как будто задетый взрывной волной, отшатнулся на стуле, чуть не упал. Та же волна приподняла портфель над столом, перевернула и сильно отбросила метров на пять. Он ударился в стеклянный шкаф, тот зашатался, задребезжал, но устоял. Антонина Романовна тут же вскочила и побежала поднимать портфель, бережно отряхнула его и поставила обратно.

— Извиняйте, если что...

— Антонина Романовна, если не секрет, — ласково сказал академик, — а что вы подумали про этот портфель, за что на него разозлились?

— Чего ж секретничать? — Женщина опять поправила платок. — Я подумала, будто в нем все наши семирязевские похоронки собраны. Семьдесят две за войну и еще две нынешних, с Афганистану.

— Спасибо, — тихо сказал академик.

— А скажите, Антонина Романовна, когда вы впервые заметили у себя... дар? — спросил Семен.

— А когда Федор выпивать стал. В семьдесят первом году. Сорок лет мужик был как мужик — ну, выпьет на праздник, и будя. А тут вдруг заладил: «Гибнет, мать, хозяйство, пустит нас новый председатель по миру», — и так каждый день, и все к злодейке прикладывается. Я уж ему говорила, говорила и даже бить пыталась, только он здоровый у меня бугай — поди сладь с ним! И вот, как сейчас, помню: прихожу с фермы, дело, значит, в среду, ясный день на дворе, ни праздника, ниче-

го, а он сидит, подлюка, в обнимку с поллитровкой. Уж такое меня зло взяло! Я как глянула на ту бутылку — да пропади ты пропадом! А она, ровно птичка, порх со стола и в стенку! На мелкие кусочки! Ох, я испугалась! А Федька — тот вообще онемел, только к вечеру отошел... Ну мы, конечно, таились, не говорили о том даже ребятам нашим... Но разве удержишься... Скоро на ферме ремонт был, ну и, конечно, ушли ремонтники, а мусор оставили. А телята — они ж дурные, тычутся в кучи-то, а там — стекло, железяки... Я рассердилась — и весь этот мусор сгребла... А одна наша баба увидела — пошло-поехало... Потом привыкли. Если там где бревно мешает или еще что — иной раз зовут да еще и деньги суют, это ж надо! — Женщина опять засмеялась тихо и смущенно.

— Антонина Романовна, — вкрадчиво спросил Семен, — а если, допустим, вы бы захотели поджечь что-нибудь, вот так, на расстоянии? А?

— Да чтой-то вы такое говорите! — возмущенно выпрямилась женщина. — Мне такое и в голову не придет. Али я разбойник, поджигатель?!

— Не обижайтесь, Антонина Романовна, — поспешил успокоить академик. — Это вопрос чисто теоретический... Ну-с, голу-бушка, больше мы вас не будем задерживать... Вы где оставились?

— Да в этой... как его... номер у меня в гостинице... хороший, чистый... Только скучно одной-то, все телевизор смотрю, уж надоело... Товарищ ученый, — искательно обратилась она к академику, — вы, может, замолвите, где надо, словечко, пускай меня домойпустят, как раз картошку убирать, а я тут прохлаждаюсь. Я уж покупки сделала, врачи ваши меня обмерили всю, как есть. Можно мне домой-то?

Николай Николаевич вопросительно поглядел на Семена.

— Понимаете, Николай Николаевич, — торопливо ответил тот, — Антонина Романовна, собственно, находится в распоряжении группы профессора Авербаха, а я, так сказать, позанимствовал временно, на день...

Академик недовольно покачал головой.

— Дело в том, Антонина Романовна, — мягко сказал он, — что науке крайне необходимо знать все о вашем даре. Вы сейчас не прохлаждаетесь, вы приносите огромную пользу науке, нашей Родине, понимаете? Считайте, что вы выполняете задание особой важности.

— Ну что ж, — вздохнула Антонина Романовна, — если задание, я, конечно, готовая.

Когда она вышла, в комнате повисла тяжелая тишина.

— Семен Борисович, у меня складывается впечатление, — сказал наконец академик отстраненным тоном, — что вы не понимаете стоящей перед нами задачи.

— Ну почему же, почему? — засуетился Семен.

— Почему — это другой вопрос, — перебил его академик. — нас интересуют открытия и явления, лежащие за пределами современных научных понятий...

— Но она пятитонный грузовик на десять метров швыряет, разве это входит в понятие?! — вскрикнул Семен.

— Явление телекинеза всего лишь недостаточно изучено, но

отнюдь не отрицаемо наукой. Вот пусть Андрюша Авербах и изучает его, зачем лезть в его работу. Помимо всего прочего, Семен Борисович, это неэтично.

Семен всплеснул руками, и его круглое лицо скривилось в обиде.

— Николай Николаевич, я действительно не понимаю! Это же как в сказке: пойдя туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что! Я вам все, что угодно, достану, я вам снежного человека на веревочке приведу. Вы скажите — и завтра у нас в бассейне на первом этаже Лохнесское чудовище будет плескаться, но я не могу так, вслепую!

— Не обижайтесь, Семен. Я ценю вашу инициативу, но мы действительно идем вслепую, — смягчился академик. — То, что мы ищем, не просто не лежит на поверхности. Оно спрятано так, что о нем и слуха нет.

Он встал, медленно прошелся по комнате, остановился рядом с Семеном, положил ему руку на плечо.

— Друзья мои, я оторвал вас от ваших лабораторий, от исследований, от монографий, но я честно предупредил: может быть, мы потратим годы впустую. Мне-то было легче, чем вам, принять такое решение: в науке я сказал достаточно. Может быть, все, что мог. Возможно, наше нынешнее дело — просто стариковская блажь. Я не держу вас, Семен, Костя. Поверьте, если вы сейчас уйдете, я не обижусь, я пойму... Решайте.

Академик встал у окна, отвернулся, стал смотреть на улицу, словно не желал смущать взглядом помощников, делавших выбор.

— Я остаюсь, — резко и как будто с обидой сказал Костя.

— Я тоже, — вздохнул Семен. — Только поймите, Николай Николаевич, мне не очень-то сладко все время быть дураком с инициативой.

— Вы правы, Семен, — не отводя глаз от окна, сказал академик. — Больше всего достается тем, кто что-то делает... Пока, — сказал он после долгой паузы, — у нас есть одна зацепка, которая мне нравится: Зеркальщик. Что-нибудь новое появилось?

— Практически ничего, — нервно отозвался Костя.

— А не практически? — настоял академик.

Костя пожал плечами.

— Вот что, Константин Андреевич, давайте-ка суммируем все то, что у нас есть по Зеркальщику, и подумаем, как дальше быть...

— Одни сплетни есть, — вздохнул Семен.

— Сплетни из ничего не рождаются, — почему-то весело сказал академик. — Расскажите все сначала, может быть, мы что-то упустили... Сами знаете, друзья, бывает, что бьешься-бьешься, а тот самый фактик-ключик давно у тебя под носом лежит. И ждет, голубчик, когда ты его заметишь соизволишь... Итак?

— Итак, — подхватил Костя, — около года назад я впервые услышал о Зеркальщике. К нам в клуб книголюбов заходит забавный старикан лет восьмидесяти, бывший гример из Малого театра. Он не член общества, никто к нему всерьез не относится, но из клуба не гонят. Зовут его Панкрат Иванович, а собирает он мистическую литературу начала века — всякую

там ахиною: столоверчение, видения Блаватской, тибетские тайны доктора Бадмаева. Так вот, я пришел тогда в клуб вместе с другом, Сергеем Прокошиным, — слышали, наверное, фамилию, он из сагдеевского института. Он всегда над дедом Панкратом посмеивается, и в тот вечер тоже. Увидел его — и сразу...

...— Ну ответь мне, мистериозный старичок, как твой друг и ровесник Нострадамус смотрит на перспективы перестройки?

Панкрат Иванович привык к беззлобным издевкам молодых библиофилов и только слегка нахохлился.

— Перестройка, молодой человек, как любое грандиозное явление, суть равнодействующая бесчисленных астральных тел. А посему определенный и сиюминутный ответ на ваш вопрос невозможен. Это будет шарлатанство. А вот, скажем, ваша личная судьба вполне исчислима, вполне...

— Дык ведь тута без кофейной гуши никак не раскумекать, а кофе нонеча в дефиците, — опять засмеялся Сергей.

— Кофейная гуша — метод ненадежный, — вдруг перешел на шепот Панкрат Иванович и приблизил лицо к собеседникам. — Ныне пришел человек, являющий въяве лицо судьбы. Так-то, молодежь.

— Это как — въяве? — тоже зашептал Сергей, подмигнув приятелю.

— А натуральным образом! Посредством зеркала...

— Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи? Так, что ли?

— Вот именно! — тихо обрадовался старик и опасливо огляделся по сторонам. — Вы смекните — откуда в сказках сие зеркальце пророческое? Ведь из ничего и выйдет ничего, а если что-то есть, то, стало быть, из чего-то...

— Это, дедуля, нам не по мозгам, ты уж нам, лапотникам, попроще...

— То-то и вижу, что не по мозгам! — озлился старик. — А дело это потайное, его не каждому понять. Только одно скажу — уже пришел человек, и в руке его — Зерцало судьбы. Вот и смекайте, молодежь...

И всегда словоохотливый дед Панкрат отвернулся от собеседников, натянул на самые уши кепку и заспешил к выходу...

— ...Так я впервые услышал о Зеркальщике, — продолжал Костя. — И конечно же, сразу выкинул из головы стариковский треп. Но прошло месяца три, и я снова наткнулся на этот слух. В молочном, в очереди. Сзади меня стояли две женщины лет по пятьдесят — обычные городские тетки, — и одна говорила другой, что слышала, будто секретные ученые изобрели аппарат, который, как в телевизоре, все будущее показывает. И теперь, мол, ищут для опытов людей, большие деньги обещают, а никто не идет. И правильно, мол, не идут, потому что если бы мне, то есть этой тетке, в двадцать лет показали, какой я в пятьдесят стану, то я и жить бы не захотела. Я слушал вполуха, теток из вида упустил, и только вечером, дома, вдруг связал слова деда Панкрата и этот разговор. А месяц назад жена принесла. С чего-то у нас зашел разговор о том, что наука требует жертв... Да, вот как было: по телевидению показали сухумский памятник обезьяне, а Галина пожалела: тоже, говорит, живые существа, имеем ли мы право распоряжаться их жизнями? Она у меня

сентиментальна. Я стал объяснять, что к чему, а она вдруг объявила, что у ее сослуживицы есть знакомая, а у той знакомой — дочка, которую ученые-психологи зазвали на свои опыты по определению будущего, и в результате этих опытов девица попала в психлечебницу. Я было усомнился, но тут вспомнил прежние слухи... И вот тогда рассказал все вам, Николай Николаевич.

Костя замолчал.

— Ну а дальше, дальше давайте, — весело поторопил академик. — Отчитывайтесь, рапортуйте, профессор Сорокин.

— А дальше через жену связался с ее сослуживицей, а потом — с той самой знакомой, у которой дочку якобы погубили ученые. Оказалось, что никакой дочки у нее нет, а историю эту она слышала от своей портнихи, у которой, в свою очередь, есть знакомая, у которой дочка...

Академик вдруг рассмеялся:

— Который пугает и ловит синицу,
которая ловко ворует пшеницу,
которая в темном чулане хранится
в доме, который построил Джек!

Костя укоризненно взглянул на него, и старик смутился.

— Продолжайте, продолжайте, Константин Андреевич.

— Дальше подключился я, — сказал Семен. — Связался со знакомой портнихи, назвал представителем Академии наук, объяснил, что мы обеспокоены слухами об опасных для людей психологических опытах и хотим точно выяснить, откуда эти разговоры идут. Женщина оказалась очень нервной — она кассир в Смоленском гастрономе, — перепугалась до смерти и стала отнекиваться. Пришлось долго объяснять ей, что у нас нет ни намерений, ни полномочий кого-либо преследовать за клевету, и Академия хочет узнать лишь одно: есть ли реальная почва у слухов? Наконец, бедная кассирша призналась, что у нее действительно есть дочка, но она жива-здоровая, а вот с дочкой подружкой что-то такое приключилось. Две недели я эту дочурку пытался поймать: дома она не ночует, где болтается — даже мать не в курсе. Наконец застал ее дома. Здоровущая, розово-щекая кобылка лет двадцати пяти — нигде не работает, не учится. Расспросов моих испугалась, но я нажал, и она созналась, что есть у нее со школьных времен подружка — по фамилии Кудрина, — которая год назад попала в психушку, а до этого путалась с каким-то не то ученым, не то конструктором, хотевшим изобрести машину для предсказания будущего, автоматическую гадалку. Кобылка призналась, что, хотя и рассказала все эти страсти матери, сама им не очень-то верит. Она, то есть кобылка, думает, что Кудрина просто нарвалась на мужика, который ей мозги запудрил, а потом бросил, вот она, то есть Кудрина, и тронулась — она вообще всегда была слегка шизо...

— Шизофреничка? — переспросил академик.

— Нет скорее всего. В молодежной терминологии «шизо» — значит немного со странностями. Кобылка сказала, что Кудрина всегда с ума сходила по всяким тайнам, загадкам и еще поэзию любила... Дальше — я добрался до матери Кудриной, представился инспектором Академии наук. Выяснил, что девица действительно в больнице, но мать довольно резко сказала, что доч-

ка просто перезанималась, готовясь к экзаменам в институт, и настоятельно просила не беспокоить девочку. Я узнал: она лежит в психиатрической больнице номер четыре на Потешной улице. К ней меня не пустили...

— Тем временем, — вступил Сорокин, — я нашел Панкрата Ивановича. Он долго увиливал от ответа и только через месяц сказал, что слышал о Зеркальщике на книжной толкучке от неизвестного человека, который искал сборник Ходасевича «Путем зерна» 1920 года издания. Вместе с дедом Панкратом мы трижды были на толкучке, но того человека не встретили. Думаю, поиски бесполезны, потому что тот человек, судя по всему, попал на толкучку случайно и, может, там еще год не появится. Финита.

— Знаете, друзья, вот теперь, когда вы все рассказали, — бодро сказал академик понурым сотрудникам, — я уверен, что дела наши отнюдь не плохи. Есть эта Кудрина, надо на нее выйти, вполне официально, я позвоню главврачу, а вы ступайте завтра к лечащему и добейтесь свидания. Путь прямой и ясный...

Академик нажал на кнопку селекторной связи, вызывая секретаршу.

— Ирочка, найдите-ка мне телефон психиатрической больницы номер четыре на Потешной улице..., а лучше сами позвоните и узнайте телефон главврача и его имя-отчество... Бороться и искать, найти и не сдаваться, не так ли, друзья мои?

Академик подмигнул коллегам. Они оба сидели с бычьими лицами и в ответ шепу синхронно вздохнули.

— Костя, по итогам этой операции, — мрачно сказал Семен, — мы с тобой должны получить звания майоров физико-математических наук и именные ЭВМ с портретом Штирлица.

«Господи, неужели теперь всегда так будет?» — вдруг подумал Матвей, проводив Рената. Он пытался забыть эту песенку про понедельник, а она все лезла, лезла. И с щемящим страхом Матвей подумал, что никуда ему не деться от памяти, и не поможет снежное затворничество, ничто не поможет, если только не обратиться в беспамятного манкурта, но ведь убивать прошлое — еще хуже, чем предсказывать будущее. Он сидел за столом, с которого не убрал остатки завтрака, смотрел в окно на белый сад и старался думать о том, что дров надо наколоть, что пора веранду на зиму забивать, что надо Карата выпустить погулять, и в то же время боролся с желанием обернуться, посмотреть на стоявший за спиной диван, потому что не мог вспомнить, какой на нем узор — цветочки или листочки? И обернулся наконец, и уже не смог гнать песенку про понедельник, а вместе с ней — Милу, и вдруг встал, бросился к дивану, упал лицом в его блеклые листочки, и оказался там, в прошлом времени, где Мила, распустив по плечам легкие, невесомо выходящие волосы, поджав под себя ноги, сидела на этом диване, перебирала истертые струны, пела тонко и чисто: «Понедельник, понедельник, понедельник дорогой, ты пошли мне, понедельник, непогоду и покой...»

... — Матвей, ты любишь дождь?

— Нет.

- Почему?
- Потому что нелетная погода.
- Ну это раньше, а теперь?
- И теперь не люблю.
- Почему?
- Потому что нелетная погода.

— А я люблю. Особенно мелкий, негромкий, осенний. Он так тихонько шуршит, как будто кто-то идет не спеша. Говорят: идет дождь. Он правда идет. Я его представляю человеком, который идет ко мне в гости. Иногда бежит кто-то большой, шумный, этаким сердитый великан. А тихий осенний дождик — он старенький и добрый, он сказки рассказывает, он всех любит, всех успокаивает. Он мой друг. А вот ливень я не люблю — он кричит на одной ноте и похож на электричку над ухом.

— Фантазерка ты, — Матвей обнял ее и ткнулся лицом в плечо.

— Это не фантазии, Матвей, это все правда, — серьезно сказала Мила. — Это все есть. Если мы чего-то не видим, то не значит, что этого нет. Я когда была маленькой, думала, что Дед Мороза со Снегурочкой можно увидеть, и много раз в новогоднюю ночь старалась не заснуть. Потом я недолго была дурочкой и думала, что сказки — это неправда. А когда стала взрослой, то поняла, что все, о чем мы думаем, все сказки, все фантазии, как вы их зовете, — все это правда. Это есть, это с нами, это в нас. Ты понял?

— А наш дядя Коля Паничкин, пьяница поселковый, поет: «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!»

— Я не знаю, зачем твой дядя Коля рожден, но только им это никогда не удастся... Слышишь, Матвей, слышишь? — Она вдруг привстала. — Слышишь — дождь уходит!

— У меня слух никудышный, самолетами порченный, — вздохнул он виновато.

— Да? — Мила с жалостью поглядела на него, а потом тонким пальчиком провела по его щекам, по бороде. — А я все равно тебя люблю.

...Господи! Каким давним, каким неправдоподобным казалось то время, когда Матвеем говорили: «Люблю!» Новехонькие формы, острые складочки на брюках, фуражечки с форсом набок — курсантское времечко! Танцы, гулянья, ночные провожания, Катя, Светы, Вали в тугих кримпленовых платьях, и музыка, томительная, медленная музыка, и руки на их упругих талиях, спинах, открытые губы и наивные: «Люблю»... И скоро, очень скоро — совсем другая музыка, и одна из них — то ли Катя, то ли Света — у закрытого гроба, в двадцать лет вдова с годовалым пацаном. «Никогда! Никогда! — зло и упрямо повторял про себя Матвей, стоя в почетном карауле у гроба первого офицера из их выпуска. — Смотри! — заставлял он себя не отводить глаз от женщины. — Смотри и помни! На всю жизнь, сколько ее тебе осталось, запомни. И не смей плодить сирот и вдов». Над скорбящим поселком рвали свержзвукowej барьер самолеты, как будто салютовали летчики погибшему однополчанину, а Матвей твердил: «Вот твоя судьба — эти ревущие, прекрасные машины и эта музыка в конце. И не смей никого припутывать к своей жизни!»

Он сдержал свое слово, остался одиноким. Иногда искал легких отношений с легкими женщинами, а если вдруг понимал, что с тайной, невольной надеждой начинает прилепляться к подруге, то рвал — резко и грубо, не боясь причинить боль, зная, что эта боль — лишь тень настоящей, той, вдовьей.

Он сам определил себе срок — тридцать три года. Порой подсмеивался над своей рисовкой — тоже Христос нашелся — а все-таки верил в этот срок, рассчитывал под него жизнь. И спешил. Еще не бывал в Армении? Едем! На Байкале? Слетаем хоть на два дня! Не читал Достоевского? Фолкнера? Бунина? Надо успеть! И жизнь не скупилась. Раз — и неожиданно-негаданно кинула его в Африку, на берег Средиземного моря: год работал там, обучал хватких алжирцев водить самолеты. А на обратном пути — еще подарок! — на два дня попал в Париж. И, нагулявшись по Монмартру, по набережным Сены, увидев с Эйфелевой башни дымчатый утренний город, уверился: так дарят только напоследок. В двадцать восемь лет составил список дел на пятилетие — 44 пункта. И за день до тридцати третьего дня рождения выполнил последний из них: обновил памятник родителям и поставил новую ограду на могиле — «на нашей могиле», как говорил он привычно. А после... Не то чтобы искал смерти, но будто дразнил ее, подманивал, брался за самые опасные испытания. И благодарил судьбу за то, что она оттягивает последний удар.

В смерти своей одного принять не мог — разрывающих тело, мутящих разум болей. А душа отлетала спокойно, с облегчением и ясностью, ни о чем не жалея. Но воскресал Матвей с недоумением и обидой, потому что снова мучился от рвущих болей. И снова умирал, уносился по длинному тоннелю свернувшегося пространства, свободный от мук тела, радостный и легкий. И снова воскресал — уже с раздражением, с отвращением, и хотел скорее уйти окончательно, и просил врачей, стараясь говорить сдержанно, с достоинством, по-мужски: «Оставьте меня, ребята, дайте помереть». А они матерились: «Ты у нас будешь жить, мы на тебя месячный запас крови извели, а ты, тудыть твою расту-дять, кобенишься!»

И когда он на новеньком, непритершемся, скрипучем протезе навсегда уходил по песчаной дорожке, по березовой аллее из госпиталя, ничего, кроме недоумения и растерянности, не было в его душе. Как же так?! Ведь если б знать, как дело повернется, то жизнь по-другому бы отстроил. И сейчас бежали бы навстречу по песочку несбывшиеся Ванечка и Танечка и давно потерянная то ли Катя, то ли Света, то ли Валя... И был бы дом. И было б настоящее будущее, а не это пустое время, зияющее перед ним... Как же мы все неправильно живем! Какие же мы слепые котят! Колька Пастухов давно в могиле, молодая его вдова из городка сбежала, и Колькин сын теперь другую фамилию носит и другого отцом зовет. А я вот — жив, да никому не нужен... Как же можно жить, не зная будущего?! Не зная, к чему готовить себя? Не видя ничего за пределом сегодняшнего дня, часа?!

И как же мне быть теперь, когда я понял нелепость слепой этой жизни?

...— Мила, — протяжно позвал он, и в пустом доме голос

прозвучал одиноко, глухо. И сразу заскулил Карат. Матвей тяжело встал с дивана, вышел в сени — Карат бросился к нему, стал тереться о ноги, будто почуял тоску хозяина, захотел утешить его.

— Ничего, пес, ничего, это пройдет, — сказал Матвей, глядя в темные собачьи глаза.

— Вот видите, — сердитый молодой заведующий отделением, весь в бороде, потряс перед гостями историю болезни, — фактически иду на должностное преступление. Я бы вам и слова не сказал, потому что о наших пациентах мы даже родственникам имеем право не все сообщать, а уж посторонним — вообще ни-ни. Вам просто повезло, я Николаю Николаевичу отказать не могу. Он учитель моего отца...

— Так вы что же, — обрадовался Семен, — профессора Николаева сын?

— Знаете его?

— Как же нам Вениамина Захаровича не знать! — почти возмущился Константин. — Обижаете, Андрей Вениаминович! В прошлом году он меня к себе в Новосибирск пригласил лекции читать, целый месяц каждый день виделись...

— Так вы даже коллеги? А зачем вам эта несчастная девушка? Как она-то связана с теоретической физикой?

— Понимаете, Андрей Вениаминович, — замялся Семен, — она, возможно, связана с людьми, исследования которых... любительские, так сказать, исследования, соприкасаются с темой, которой сейчас занят Николай Николаевич...

Врач с подозрением посмотрел на бубличное лицо Семена.

— Ну ладно, — и раскрыл историю болезни, стал листать. — В общем, ничего хорошего... Суицидальный синдром... Впрочем, вам наши термины ни к чему, буду проще... Двадцать пять лет ей. Закончила музыкальное училище, работала преподавателем музыки в детском саду... ушла оттуда... нигде не работала... Лечащий врач говорил мне, что подозревает... ну, очевидно, она пела в церкви: иногда начинает петь что-то религиозное, вроде псалмов, но бессвязно. К нам попала в октябре прошлого года. До этого — за три дня две попытки самоубийства. Причина неизвестна. Первый раз наглоталась не знаем чего — каких-то таблеток, но ее просто вывернуло... Это ее мать рассказала, вдвоем с матерью они живут... Два дня лежала пластом, а потом, значит, вскрыла себе вены. Повезло: мать со службы вернулась раньше обычного. Вызвала «скорую», всю в кровище ее в Склифосовского привезли. Спасли. Оттуда — прямо к нам. Там один раз пыталась повеситься на простынях. У нас тоже была попытка... В первые месяцы бывали истерические приступы, сейчас — потише. В контакт не вступает ни с кем, почти не говорит. Вообще речь нарушена, бессвязна. Чрезвычайно неряшлива, не умывается, не причесывается... Вообще же физически она совершенно здорова. И чувствуется, что была красива. Если вы хотите с ней поговорить, то с полной ответственностью предупреждаю: ничего не выйдет. Во всяком случае, пока.

— А как долго продлится это «пока»? — осторожно спросил Константин.

— Не могу привыкнуть, — вдруг с натянутой улыбкой сказал врач. — Уже пятнадцать лет в психопатологии, а не могу. Наверное, никогда не смогу... Вот когда мне такой вопрос задают, чувствую, как у меня сердце смещается. Просто физически чувствую, как оно — раз и набок... Такой вот эффект странный... Ну, вы не родственники, вам скажу просто: это самое «пока» может вовсе не кончиться. Никогда. Через год-два сдадим мы девицу в другое учреждение, и там она будет... до могилы. Но, впрочем, это не единственный вариант. Организм очень крепкий, молодой, и все еще может нормализоваться. Но необязательно. Вы ведь, как ученые, понимаете, что на самом деле мы ни черта еще не знаем ни о человеке, ни о природе... Что вы, физики, что мы, врачи, только диссертации защищаем да щеки надуваем, а по правде-то...

Заведующий отделением не договорил, захлопнул историю болезни и безнадежно махнул рукой.

...В босоножках с перепонками, похожих на детские сандалики, в сереньком платьице, скромном, никаком, в платочке, по-сиротски повязанном, она возникла из тумана и спросила совсем негромко, а Матвей ясно услышал, хотя и был далеко от калитки. Услышал, будто над ухом сказали:

— У вас комната на лето не сдается?

Ходить с этим вопросом начали с января, и Матвей всегда отвечал «нет». Но комната была, и тетя Груня берегла ее для неведомой Матвею усть-лабинской племянницы, которая когда-то давно приезжала гостить и теперь тоже ожидалась. Не первое лето ожидалась, да все никак не ехала и на тети Грунины приглашения не отзывалась. Комната пустовала, а в сентябре тетя Груня понятиливо вздыхала: «Конечно, у них там, в Усть-Лабинске, благодать, лето до октября, чего ей тут делать...»

Матвей неизвестно отчего вдруг решил распорядиться не своим жильем и даже не подумал, как объясниться с хозяйкой.

— Смотрите, — открыл он дверь в узкую комнату.

Девушка поглядела на обтерханный древний столик, на стул ему под пару, на матрац с ножками, на картину «Витязь на распутье» и подошла к окну. Заглянула, привстав на цыпочки, — что там, под ним. Там был сад, начинавшийся сразу от дома — яблоньки, кустики вразброс...

— Сколько вы берете?

— За все лето — триста, — ответил Матвей наобум и, войдя в роль хозяина, спросил: — Вы одна или с детьми?

— Одна...

— А вот здесь — готовить, — показал он на кухню.

Девушка взглянула небрежно.

— Я в конце мая приеду. То есть на той неделе. И все время, наверное, буду жить. Вас тут много людей?

— Я да старуха.

— Это вы жену так зовете? — насмешливо посмотрела она на Матвея.

— Нет, хозяйку, — почему-то смутился он. — Она настоящая старуха, семьдесят пять лет...

— А-а, — протянула девушка и опять заглянула в окно. — А цветы у вас есть?

— Растут какие-то...

Матвей не помнил точно, есть ли цветы на участке.

— Вы — жилец? Снимаете?

— Да.

— На лето? Или весь год?

— Весь год. Я живу тут.

— Значит, договорились.

И когда она исчезла — не ушла, а именно исчезла, — Матвей протер глаза, как будто со сна, и вдруг быстро похромал к калитке, выглянул на улицу... А девушки там не было. Туман был, туман майского утра — легкий и нежный. И тогда ему показалось, что девушка соткалась из тумана и растворилась в нем, и было в ее явлении нечто загадочное, нечто не принадлежащее твердому миру вещей и простых событий, нечто родственное наваждению, мороку, и то была не шутка, не обман чувств и напряженных нервов: Матвей вдруг понял, что с самого начала подспудно смутило его — Карат, голосистый, залиvistый Карат почему-то смолчал на этот раз и теперь лежал у крыльца, тихо урчал и косил испуганным темным глазом.

Опираясь на клюку, вернулась из магазина хозяйка.

— Тетя Груня, а я комнату сдал, — склонил он повинную голову.

Старуха постояла молча, обдумывая.

— Кому сдал-то? — спросила наконец.

— Какой-то девушке. Она одна. На все лето.

Подобие улыбки скользнуло по морщинистому старухиному лицу.

— Ну и ладно сделал, — махнула она рукой и пошла в дом. Уже с крыльца спросила:

— За сколько сдал-то?

— За триста...

— Ирод бессовестный, — беззлобно сказала тетя Груня. — Ты б еще за триста рублей Каратову вон будку сдал. Оглоед.

...А тогда, после песочной дорожки, после березовой аллеи жить стало невозможно. То есть жить даже очень можно — с военной-то пенсией здоровому бездельнику (ну и что, что на протезе? Не в инвалидной ведь коляске! А боли... Стерпеться нельзя, что ли?). У, еще как можно жить-то, и не доживать, а именно жить («Ста лет тебе не обещаю, — сказал лечащий врач на прощанье, — но до восьмидесяти можешь дотянуть. Если не сопьешься»), наконец жить, не считая сроков! Но не мог.

Плотно закрыл окна в комнате и на кухне. Двери из кухни в прихожую и из прихожей в комнату открыл настежь. Пустил газ на полную из трех конфорок и лег на диван в белой рубашке и в тренировочных брюках. Думал, что заснет себе тихонечко — и привет. Но сна ни в одном глазу не было. Лежал, выткнув руки по швам, и пытался вспомнить детство, но вспоминались только мать и отец — рядом, как на свадебном фото, а вот этого вспоминать не хотелось. Он красиво придумал, что перед смертью вся жизнь пробежит перед мысленным взором,

замедляя бег на счастливых мгновениях, показывая их вновь и вновь, как показывают рапидным повтором голы на экране, но ни хрена почему-то не бежало. И будто в насмешку вылезли толстые голые ляжки безымянной от времени девицы и его, Матвеево, давнишнее глупое, почти мальчишеское удивление: «Вот это да! А под юбкой и незаметно было, что такие толстые!» Завоняло газом. С раздражением встал, достал бутылку водки, зубами сорвал пробку, налил сразу стакан и выпил сразу. И кинулся к окну, чуть не вышибив раму, распахнул его — глотнул прохладный чистый воздух летней ночи. Стоял, вбирая его. Выталкивал газ из легких. В тишине ловил ничтожные звуки, расшифровывал их (машина... ветер в листьях... шаги прохожего... черт его знает что... скрип рамы...). Дрожал то ли от холода, то ли от предчувствия. И внезапно, разбив тишину, раздался привычный взрыв — невидимый, однополчанин прорвался за звуковой барьер, ушел в иное измерение и подмигивал оттуда, недоступный судьбе.

Наутро помер майор Басманов, а выживший Матвей отправился в свое другое измерение. Уходил он медленно, по пути меняясь, день за днем обрастая новыми подробностями: появились борода и тяжелая суковатая палка по руке, неспешным, тяжелым стал шаг, слова порастерялись, набралось молчания... А потом этот дом в поселочке возник, и бабка Груня, и Карат, и зимний тулуп, и ватник на осень и весну, и хватка колоть дрова, и с печкой управлять, и многое другое, что могло показаться сутью, но было лишь предисловием к сути.

А суть нарастала медленно. Матвей сопротивлялся: она представлялась ему темной пульсирующей массой, набухающей, вяло kloкочущей, страшной до озноба, до мурашек, колюче бегущих по коже от затылка к пяткам, а потом — по рукам, по кистям, да самых пальцев, и пальцы дрожали. Просыпался посреди ночи, выходил курить на крыльцо, вполголоса говорил звездам: «Не дай мне Бог сойти с ума...», и звезды согласно мигали: «Не дай...» Он отталкивал нарастающую суть, пугался ее, называл безумием и содрогался от прежде неизвестного ему страха. И неравная эта борьба тянулась долго, выкручивала нервы, высасывала душу, пока однажды, обессиленный, измотанный, дрожащий, не вышел он на обычное свое крыльцо... То все как-то ночью выходил, а тут — под утро проснулся.

И увидел рассвет.

Просто рассвет. Июньский. Обычный — розовеющий с востока. Завороженный, не мог оторвать взгляд. Не шелохнувшись, стоял до чистого утреннего неба.

И тогда отчетливо понял, что это — чудо. А значит, глупо не верить в чудеса.

Вот и прорвался он за барьер — без взрыва, в тишине. За барьер трезвого смысла, одномерности и расчета.

Лишь потом, много спустя, он все это вспомнил, обдумал, исчислил и назвал именами, а тогда словно стронулось что-то в мире, переменилось, и только одно откровенно и ясно предстало перед ним: он обречен на войну с этой слепой жизнью, не знающей своего будущего. Он победит тьму, развеет ее, и каким бы диким, нелепым ни казалось со стороны это противоборство, он вступит в него. Ради этого были летные годы, ра-

ди этого — самообман сроков, ради этого — мучительное воскрешение. Все не случайно: он избран, отмечен, предназначен.

Исчезла темная, клокочущая масса, исчез страх, внезапно обнажилась суть, и была она прекрасна.

...— Что это вы не спите? — сказал Матвей, и вышло грубо, будто был он сварливый хозяин и цеплялся к жиличке.

Он смутно увидел ее в темном открытом окне, сидящую с ногами на подоконнике, когда вышел по старой привычке покурить часа в два ночи. Кончался май, она переехала на дачу неделю назад и жила незаметно, почти не соприкасаясь ни с хозяйкой, ни с Матвеем.

— Я очень люблю ночь, — сказала она едва слышно. — Я сова. Если б можно было, я жила бы ночью, а днем спала.

— И что б вы делали ночью? — с усмешкой спросил Матвей и опять почувствовал неуместность своего тона. Но она будто не заметила этого.

— На помеле летала бы, — серьезно сказала она.

— А-а, так вы, значит, ведьма? — засмеялся Матвей.

— Нет, я колдунья.

— Злая или добрая?

— Очень добрая.

Глаза Матвея привыкли в темноте, и ему показалось, что он различил на лице девушки улыбку.

— Ну так сделайте что-нибудь хорошее.

— А что вам нужно?

— Мне... — Матвей задумался. — Если вы колдунья, то сами должны знать!

— Я знаю, — решительно сказала девушка. — Вам нужна вера в собственные силы.

— Точно! — удивился Матвей.

— Видите, я действительно знаю. Я почти все про вас знаю.

— Расскажите, — попросил он настороженно.

— Только не обижайтесь, я правду буду говорить. Так вот, вы не верите в свои силы с самого детства, потому что все ребята были нормальные, а вы — хромой. Они бегали, играли в футбол, в хоккей, а вы за ними не могли поспеть. И вам стало казаться, что вы — хуже. И отсюда все пошло. Учиться в институте вы, наверное, не стали, спрятались в этом поселке...

— Так, так, — подбодрил Матвей, сдерживая смех.

— ...Профессии настоящей не получили, ведь вы не работаете? Завели себе мастерскую и сидите в ней целыми днями, соседям утюги чините. Семьи у вас нету. А все потому, что вы не верите в себя, считаете себя хуже других. А ведь это совсем не так! Ну что из того, что вы хромаете, подумайте! — «Колдунья» увлеклась, и ее голос звонко разносился по ночи. — Вы могли бы выбрать любую профессию. Мало ли таких дел, для которых неважно — хромой ты или нет, ведь правда?

— Конечно, правда, — покладисто сказал Матвей.

— Никогда не поздно начинать! Надо только поверить в себя! Вот взяли бы, например... и выучили какой-нибудь иностранный язык. Вы ведь ни одного не знаете, — сказала она убежденно, и Матвей не выдержал — расхохотался.

— Вы ужасно молодая, ужасно самоуверенная и совсем пло-

хая колдунья! — Он откашлялся и запел. — «Аллонз анфан де ла патри...»

И с чувством довел «Марсельезу» до конца, подчеркнуто грассируя.

— Вы знаете французский? — растерянно сказала девушка.

— Да, милая колдунья, я год работал в Алжире, был и во Франции, правда, недолго.

— А кем же... А кто же вы? — совсем растерялась она.

— В Алжире я был советником...

— Вы — дипломат?! — почему-то ужаснулась она.

— Нет, я был военным советником, точнее — пилотом-инструктором.

— Вы — летчик?! А как же... нога?

— Вот тут-то и есть главная ваша ошибка. Я не просто хромым, я без ноги, но вовсе не с детства, а всего шесть лет.

Девушка помолчала и вдруг захихикала:

— Ой, какая же я дура! Я думала — сидит такой бирюк в бороде, примуса починяет...

— Да это просто соседи иногда заходят, я и помогаю...

— Вы не сердитесь?

— Напротив! Вы меня повеселили. Я теперь знаю, как выгляжу со стороны.

— Нет, нет! Вы гораздо лучше выглядите, честное слово! Я все-таки чуть-чуть, совсем капельку колдунья, и я угадала, что вы не должны быть таким бирюком, что вы намного лучше и интереснее. Правда! Иначе разве я стала бы все это вам говорить?

Он засыпал с легким сердцем. Почему-то казалось, что, в сущности, жизнь прекрасна, в той самой своей потаенной сущности, столь редко раскрывающейся людям, она прекрасна и чудесна, то есть полна чудес и загадок, разгадывать которые заманчиво и радостно. С чистой душой, готовой верить любым обещаниям жизни, заснул он. И увидел сон о Единороге.

Увидел себя маленьким, лет семи, на краю леса. Замшелого, буреломного, сказочного леса. Матюша стоял на солнечной опушке, по пояс в траве, и слышал, как в глубине, в чаще хрустят под грузным телом ветки. Мальчик знал, что там гуляет Единорог, и не боялся его. Он сделал шаг к лесу. Близко, над самым ухом невидимая мать попросила: «Осторожней, сынок». Матюшка кивнул и вошел в лес. Сразу на плечо ему спрыгнула золотая Белка, прижалась к щеке, обвила пушистым хвостом шею. «Эге-гей!» — раздалось издали, и Матюша понял, что это спешат его друзья: Серый Волк и Иван-Царевич. Волк был ростом с мальчика, с длинной шерстью, он пах по-домашнему — теплом и печкой. «Здравствуй, Волк», — Матюша обнял его за толстую шею, спрятал лицо в шерсти, а Волк лизнул его щеку горячим мокрым языком. «Здравствуй, Ваня», — сказал мальчик, и Царевич (с отцовским лицом — давним, запечатленным на фотографии военных времен, когда Матюши еще не было на свете, и никто не знал, ждать ли его) поклонился. Солнце острыми лучами проникало в лес, и каждый луч падал на яркую кровавую бусинку брусники. Шаги Единорога слышались рядом, но он не приближался, а словно кругами ходил, не спеша, уверенно — то ли время не пришло ему показаться, то

ли просто гулял сам по себе. Белка перепрыгнула с Матюши на Волка и села у него на загривке. «Звал нас?» — спросил Царевич, и мальчик кивнул. «Вы обещали взять меня в лес». — «Еще не пора, — печально сказал Царевич. — Ты подожди немного». Совсем рядом шумно вздохнул Единорог, а затем тяжело повернулся, и шаги его удалились. Пока они не стихли, Матюша, Царевич, Волк и Белка молча смотрели в ту сторону, куда ушел Единорог. «Вот видишь, — сказал Царевич, — еще рано». Матюша услышал тихий, облегченный вздох и понял, что это мать, с опаской следившая за ним, отпустила тревогу и страх. «Хорошо, — покорно сказал мальчик. — Я буду ждать». И снова обнял теплого Волка, прощаясь.

Он отвернулся от друзей и, сделав всего несколько шагов, оказался на опушке, заросшей травами. Над ними летали бабочки, множество бабочек, и каждая оставляла короткий цветной след. Следы вспыхивали, исчезали, переплетались, путались, от этого в воздухе дрожало многоцветное марево, и спящий Матвей словно слышал мысли мальчика: «Вот лето кончится, а потом зима, а потом опять будет лето, я приду сюда и обязательно увижу его».

На этом сон кончился, но Матвей провидел, что продолжение есть, и оно казалось ему второй жизнью. И если от первой жизни он прожил большой кусок, то эта вторая — таинственная, манящая — только начинала свое медлительное течение, устремленное в баснословный край, исполненный сияния.

...Он проснулся с разгадкой. Как будто незримый покровитель нашептал ему, спящему, те слова, которые Матвей искал уже два года — бился, маялся, а найти не мог. И вот теперь все вдруг стало ясно — до деталей. Он окончательно понял принцип Машины. Теперь дело было за техникой, всего лишь за техникой, которая должна воплотить принцип в реальность. Техника подвела Матвея только однажды, но теперь-то он знал, что тогда, во время катастрофы, не техника не сработала, а просто судьба, исполняя предназначение, повернула жизнь Матвея в иное русло. А теперь судьба вела его к удаче, и техника не могла подвести.

...Он тащил эту ветку тяжело, упрямо и с иронией думал: «Я похож на муравья» — ветка была в два человеческих роста длиной и толщиной, как нога толстяка.

— Вы такой хозяйственный, экономный, — сказала она нараспев и поднялась навстречу со скамеечки у крыльца. — Можно, я помогу!

— Вот еще! — буркнул недовольно и даже отстранил ее жестом.

Кинул ветку к деревянному сараю, отряхнул руки и закурил.

— С чего вы взяли, что я экономный?

— У вас полный сарай дров, а вы все тянете... ветки, ящики...

— Понимаете, — Матвей присел рядом, — вот эта береза, например, моя ровесница или около того. Если ее распилить умело и топить тоже умело, то хватит на три, ну четыре зимних вечера. Представляете, целая жизнь прошла, а всего-то — на три вечера обогреть старуху да инвалида. А если на весь год — зна-

чит, нужен нам небольшой лесок. Он рос, жил, а мы его — раз и спалим. И чтобы вырос такой же, нужно еще лет сорок. Мне стыдно хороший лес жечь. Вот и хожу, как побирушка, по поселку и вокруг, ищу сухие ветки, деревья, старые ящики, заборы, доски — если губить, то отработавшее, послужившее, не живое. Чтоб справедливо было.

— Вы в справедливость верите? — спросила она с удивлением.

— А почему нет? — в ответ удивился и он.

— Но ведь жизнь несправедлива!

Она смотрела удивленными ясными глазами, чуть-чуть недоверчиво, будто подозревала его в подвохе и ждала, что он и сам сейчас рассмеется, признается, что пошутил, конечно.

— Вы уверены в этом? — спросил он и впрямь с подвохом.

— Ой, вы же смаетесь надо мной! — как будто обиделась она. — Ну где же справедливость в жизни? Все эти случайные смерти, болезни, все эти лавины и сели, машины с пьяными водителями, гололед, бандиты и хулиганы... А в природе?! Ведь там тоже нет никакой справедливости! Жизнь жука или божьей коровки так же случайна, как жизнь человека... А само рождение разве не случайно? А где случайность, там не может быть справедливости.

— Философы называют случайность формой проявления необходимости...

— Ой, да не знаю я этой философии! Я вижу, что нет в природе ни справедливости, ни правды! Справедливость только в сказках... Поэтому дети их так любят... Дети вообще хотят справедливости... а потом привыкают, что ее нет в жизни...

— Конечно, нет, — согласился он неторопливо. — В природе нет. И в жизни нет... Но...

Матвей помедлил, словно не решаясь продолжить. Затянулся в последний раз, затоптал бычок.

— Но в том-то и штука, что человек эту справедливость может принести в мир. Человек — царь природы не потому, что изобрел луноход. А потому, что он, только он один может изменить мир по законам совести, справедливости. И смысл появления человечества — не покорение природы. Смысл — принести справедливость. Если каждый будет так жить, то... случайности, конечно, никуда не денутся... но справедливости в мире будет все больше и больше, и потом, может быть, настанет...

— Царство божие?

— Это уж как назвать.

— Вы, Матвей, философ. Только все это теория, в жизни по-другому.

— А разве жизнь не от нас зависит?

— Нет! — крикнула она с обидой. — Вот почему я ушла из детсада?

— А вы там работали?

— Да, музвоспитателем. Я и детей люблю, и музыку, и вообще это самая хорошая профессия — учить детей музыке, а я все равно ушла. Там, в детсаду нашем, все воровали. Повара воровали, бухгалтер воровала, половина воспитательниц воровали и, конечно, директор всех покрывала и сама воровала. Масло, сахар, муку, просто деньги — скажем, на ремонт выделяют, а они как-то так сделают, что половина денег у них в кар-

манах остается. Ну и что я могла сделать?! В милицию пойти? Так у них там все свои. Написать куда-нибудь, чтоб комиссию вызвали? Были и комиссии, так их тоже покупали. А кто пожалуется — тому еще хуже. Одна воспитательница против них пошла, так они ее саму чуть не посадили — еле убежала. А я вовсе не боец, не знаю я всех этих уловок, даже не понимаю, как им удаётся воровать, только видела не раз, как они вечером на «рафик» — мешками, ящиками...

— Понимаю, — кивнул Матвей. — А все-таки это ничего не меняет. Сами-то вы не воровали. И что ни делай с вами, все равно не стали бы воровать. Вот я и говорю, что все от человека зависит... А воруют... Что ж — это всегда было. Будущего своего не знают — вот и гадят. А посмотрели бы на себя лет через десять в арестантских куртках где-нибудь в Сосьве — авось по-другому жить бы стали...

Она засмеялась тоненько, и Матвей взглянул удивленно.

— Извините, — смутилась она. — Просто вы мне одного человека напомнили... Вас только двое таких, наверное...

— Кого же?

— Отца Никанора. Моего... ну, как это сказать... даже не знаю...

— Отца?

— Ну да, он священник. Я-то неверующая, так воспитана. Ну а когда из детсада уволилась, не знала, куда идти. Не хотела ни другого сада, ни школы — там всюду одно и то же: вранье и гадость. А у меня голос хороший и слух абсолютный. И я пошла в церковь, сказала, что готова петь в хоре. Отец Никанор пригласил меня к себе домой — рядом с церковью домик у него. И представляете, что меня там поразило — у него там рояль. Концертный «Петрофф», старый, вполне приличный. Он меня усадил, я стала петь, играть, потом он тоже, под конец даже арию царя Бориса исполнил — и так здорово! Оказалось, что он до семинарии учился в консерватории. Молодой еще... лет сорок ему... Он был рад вспомнить прошлое... И согласился меня взять. А я ему тогда честно сказала, что, наверное, иногда не смогу петь. У меня бывает, что голос пропадает, если настроение плохое. Я боялась, что он меня будет уговаривать, мол, дело есть дело, тем более — если деньги, мол, артист должен петь в любом состоянии... Или вовсе прогонит... Но он... знаете, вот как вы, — понимаю, говорит. К господу, говорит, надо с тихой душой идти, а если не спокойно вам, то обратитесь к Нему с молитвой в сердце своем. И когда не сможете петь, то не надо. Он поймет. Я чуть не заплакала... Нам же всю жизнь одно — и в школе, и в училище: ты обязан, у тебя долг, надо заставлять себя, преодолевать слабость, надо воспитывать в себе и в учениках волю, ответственность, ты должен, должен... Я в храм, как на праздник, лечу... А если нет настроения... Молиться я так и не научилась, хотя теперь много молитв и псалмов знаю... В бога не верю, нет... не отвергаю, но не верю... еще не готова... Я в лес иду. Слушаю птиц, дождь... А зимой — просто смотрю — белые деревья и синее небо — ничего нет лучше... А завтра я пойду в храм. Завтра ведь большой праздник — Преображение Господне. Я готовлюсь к нему. И все наши тоже готовятся, и весь причт тоже... Будет

очень хорошо, настоящий праздник будет... Приходите, Матвей! Правда, приходите к нам завтра!

— Спасибо за приглашение... Но ведь я неверующий...

— Ну и что? Я тоже, не в этом дело!

— Понимаете, Мила...

О, каким обманом была его трезвая рассудительность и как мало спокойствия было в душе! Нацеленный на дело, на борьбу, единорогом прущий к цели, о которой и подумать страшно, отринувший во имя этой цели все, решивший и жизни не пожалеть, и уже загодя зачеркнувший эту жизнь, выделивший себя из круга людей, отделившийся от них заповедной зоной, он внятно ощутил растущую тревогу за эту счастливую беднягу и понял, что не сможет пройти мимо и что путь к цели не обок этой девочки лежит, а через ее душу, слишком хрупкую для беспощадного, действительно несправедливого мира. Он почувствовал груз той самой нелюбимой Милой ответственности, от которой не мог уклониться, не мог сбежать в леса и храмы, потому что был старше, сильнее, опытней, потому что играл уже в гляделки со смертью и вынес ее взгляд. Он в бога не верил, но знал, что есть в мире силы, смысл которых огромен и до поры не ясен и мощь неизвестна. Он бросил им вызов — осознанно и дерзко, а в ответ — он понимал это! — получил Послание, и явилось оно в облике Милы. Он силился разгадать тайный код, уловить смысл Послания, но весь великий смысл оборачивался большими темными глазами, тонким, звенящим голосом и всей ее хрупкой фигуркой, соткавшейся из тумана и готовой раствориться в нем. Смысл ускользал, а Матвей, ворочаясь ночью на топчане, все гнался и гнался за ним, не отступая, потому что погоня уже привычно вошла в его кровь, потому что много лет гнался он за принципом Машины и догнал его, понял во сне и теперь воплощал в провода и диоды, в микросхемы и экран, в медь и пластик. Воплощал в реальное, твердое и знал, что дойдет до конца — воплотит. Одного не знал — что дальше случится, но готов был ко всему. Тут и настигло его Послание — зыбкое, многозначное...

Ночь — его время, и опять она помогла. Он проснулся внезапно — с готовым ответом. Ошеломленный его простотой, он вскочил с топчана, бросился на крыльцо, настезь открыл дверь в ночь. Беззвучно шевелил губами, повторял, обращаясь к немигающим звездам: «Я люблю ее... Я просто люблю ее...»

— Успокойтесь, Анна Сергеевна, пожалуйста успокойтесь, — Костя хотел дотронуться до ее руки, лежавшей на столе, но женщина резко отшатнулась.

— А я спокойна! Я спокойна! — истерически крикнула она. — Девочка просто перезанималась, устала, вот и все! Она отдохнет и поправится, мне обещали! Я ведь вам это еще в первый раз сказала! Чего вы хотите, я вообще не понимаю!

— Да ведь, наверное, не в том дело, что дочка ваша перезанималась? Или вернее — не только в том дело, не так ли, Анна Сергеевна? — мягко сказал Семен.

— А в чем? В чем еще?! И какое вам дело?

— Я же объясняю, — сказал Костя, — у нас есть сведения,

что ваша дочь перенесла сильное душевное потрясение. И связано это с неким человеком или людьми, ведущими... ну, определенные научные работы... Мы интересуемся этими людьми, понимаете?

Женщина безвольно сложила руки на коленях, опустила голову, и стала заметно, что она вся в некрасивых клоках и пятнах седины.

— Вы, наверное, из КГБ, — сказала она наконец спокойно. — Так бы и сказали сразу, а то все кругами ходите... Ничем я вам, товарищи чекисты, не смогу помочь. Только одно скажу — никаких иностранцев у ней знакомых не было, это точно. А после того как из детсада ушла, она и домой-то редко заглядывала. Может, я сама виновата: все пилила ее, мол, хватит гулять, надо серьезным делом заняться. А занималась она...

Женщина вздохнула, с опаской, исподлобья глянула на гостей.

— Ну чего уж скрывать... В церковном хоре она пела. Тем и жила.

— Где? В какой церкви? — быстро спросил Семен.

— В церкви Успенья Богородицы, в селе Романове... Это недалеко, по Киевской дороге... Там где-то рядом и комнату снимала.

— А адрес вы знаете?

— Вы мне только правду скажите, товарищи чекисты, ей за это что будет? — Женщина переводила глаза с Семена на Костю, а потом, выбрав Костю, жалобно попросила: — Только честно скажите!

— Анна Сергеевна, ну что же вы такое говорите? — мягко укорил ее Костя. — Да пусть пела, разве это запрещено? Никто вашу дочь не думает преследовать, честное слово. Нам нужны только люди, с которыми она общалась в последнее время.

— Я-то там не бывала ни разу, но Люда сказала, что она живет... Нет, не в самом селе, — женщина силилась вспомнить, но что-то застало ее память. — Рядом — поселок дачный... Забыла название... Сосновка, что ли? Нет, не помню...

Семен досадливо хлопнул ладонью по коленке, и женщина вздрогнула.

— Извините, — сказал он. — Может быть, детали вспомните? Что за дом? Что за хозяева?

— Да, помню! — обрадовалась Анна Сергеевна. — Помню! Люда говорила, что от поселка до церкви ей четверть часа идти — сначала лесом, а после полем. Что хозяйка — старушка. И еще в доме инвалид живет.

— Имя, имена не говорила?

— Имя? Ой, что-то крутится... То ли Михаил этот инвалид, то ли... Макар? Или Андрей?.. Нет, не помню.

— Костя, мы что-то не то делаем, — ожесточенно сказал Семен, когда сели в машину. — Мы делаем что-то не то, — повторил он размеренно и зло. — Не тебе объяснять, как я уважаю Деда. Он для меня и мать, и отец, и Альберт Эйнштейн. Но я не могу из-за любви к нему обслуживать его блажь, не могу! — сорвался он на крик.

— Успокойся ты, остынь, — ответил Костя.

— В свои семьдесят семь он может позволить себе каприз, а я?! Работа стоит, лаборатория срывает план, сотрудники скоро забунтуют, а я устраиваю дела каких-то автомобильных летчиков с их дурацким «Шаттлом»! Из плана полетела моя монография, на конференцию в Лондон я не поехал, а ведь меня Говард приглашал, сам Бенджамен Говард! А я сейчас вместе с тобой должен искать какое-то Успенье Богородицы! Что мы найдем?! Ну богомольная старуха, ну инвалид юродивый, дальше что?! Ну секта, какие-нибудь трясуны-баптисты...

— Баптисты — не секта и не трясуны, — возразил Костя.

— Я ничегошеньки в этом не понимаю! Я синагогу от мечети не отличу, я физик — и не самый плохой! — а не поп и не сыщик! Я понимаю, Костя, я все понимаю, я знаю, что без Деда я бы и сейчас преподавал «Физику» Перышкина в шестом классе Омской школы, но ведь... Ведь это что выходит — я тебя породил, я тебя и убью?!

— Семен, — сказал Костя напряженно, — тебе не кажется, что мы в тупике?

— Да! Именно в тупике! С самого начала всей этой странной затеи!

— Я не о том, — нервно перебил Костя. — Не кажется ли тебе, что все мы, ученые, в тупике? Ведь всем давно ясно, что мы раздробили науку на тысячи осколков, направлений, узеньких штреков, каждый долбит свой лаз и не видит общей цели. Движение для нас — все, а зачем, куда? Считается неприличным, наивным задавать этот вопрос. А Дед — гений. Он ищет принципиально новые пути, парадоксальные, невероятные. Поверх барьеров. Их нельзя выдумать за столом, их надо отыскать в жизни, понимаешь? Позавчера был у него на даче. Он написал себе штук сто книг по философии, истории, этнографии Индии и Китая, обложился ими с трех сторон, сидит — и конспектирует, как первокурсник. Ищет. Уверен, что все возможные глобальные открытия предугаданы много веков назад. Думаешь, почему он так вцепился в Зеркальщика? Потому что — «свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи...». Откуда это взялось? Вся история цивилизации переполнена предсказаниями будущего — пророками, прорицателями, оракулами, филфиями. И ведь угадывали, черти, не раз угадывали! А Дед сидит, чешет лысину линейкой, приговаривает: «Нет дыма без огня! Бороться и искать...», и пишет, как всегда, двумя карандашами: синим — конспект, красным — свои соображения. Анна Егоровна мне жаловалась на кухне: по двенадцать часов сидит, как молоденький, она его гулять силой вытаскивает... Семен, скажи честно: неужели ты допускаешь, что Дед свихнулся?

Семен убито вздохнул.

— Нет, конечно...

— Вот так-то. Ладно, едем в Романово, — Костя включил мотор. — А Бенджамен Говард тебя подождет. И Нобелевская — тоже...

...Сначала Матвей относился к нему с иронией, потом с симпатией, а потом стал считать как бы другом. Отрезав себя от старых друзей и связей, он хотел одиночества, но выходило

так, что совсем без людей нельзя. После смерти тети Груни и ухода Милы Матвей остался с Каратом, и доходило до того, что тянуло попить с ним на пару. Тогда он шел к Ренату, отрывал его от работы, и тот — близоруко и покорно — соглашался идти обедать, или дрова колоть, или в лес.

А впервые Ренат сам пришел к Матвею с наивно-наглой просьбой: не может ли он дровами помочь, а то холодно. Матвей подивился на здорового мужика, который не удосужился дровами завестись, а теперь кланчит на дармовщинку. Но что-то удержало его от резкого отказа: наверное, нелепый вид Рената — ватник, золотые очки и лаковые мокасины, заляпанные глиной. Когда с вязанкой дров пришли на Ренатову дачу, Матвей огляделся и разом все понял про жизнь хозяина: веранда с безногим столом и битыми стеклами, пустая комната, заваленная пыльными газетами и журналами, еще одна такая же — поменьше и погрязней, с продавленным диваном, тощий кот с фосфорическими голодными глазами, в закутке-кухне — газовая плита, во много слоев заляпанная подгоревшим варевом, и наконец — большая жилая комната с облупившейся печкой и сотнями книг на полках и в стопках, рабочим столом с аккуратно разложенными листами бумаги, карандашами, ручками и элегантной, сверкающей хромом пишущей машинкой.

— Такой дом протопить тебе, знаешь, сколько дров надо? — грубовато сказал Матвей.

— Я как-то... привык... к холоду. Работается лучше... и вообще, — извинился Ренат.

— Ты что, писатель?

— Не-ет, — засмеялся он, — я литературовед.

Матвей не мог серьезно относиться к такой работе, она казалась ему не мужским делом, а баловством дамским. Раньше, в летние годы, он бы посмеялся в открытую. Тогда он вовсе не считал нужным присматриваться к людям, делил их на мужчин и всех остальных: женщин, детей, стариков. У «остальных» были точно определенные функции: у одних — спать с мужчинами, рожать детей и вести хозяйство, у других — расти и учиться, у третьих — доживать и помогать молодым. А мужчины, в свою очередь, делились на «шляп» и мужиков, то есть на тех, кто гужется помаленьку при жизни, ловчит и бездельничает, и тех, кто эту самую жизнь на себе тянет. Картина была без полутонов, четкой. И особенно четкой от того, что, как в рамку, помещалась в решенные Матвеем сроки. Но рамка рассыпалась, и он стал приглядываться к людям: ведь оказалось, что среди них еще долго, наверное, жить, и стоит, пожалуй, разобратся получше. По прежней мерке Ренат был стопроцентной «шляпой» и даже не просто «шляпой», а «шляпой с перышком», то есть находился на последней ступени мужского падения, донельзя приблизившись к бабам. Теперь же Матвей не спешил с оценкой. И мало-помалу, отвечая на вопросы, которые сам себе задавал, он ощутил, как растет его симпатия к «шляпе» и меркнет ирония. «Трудыга или бездельник?» — спрашивал Матвей. Ну хорошо, пусть работа его непонятная и бестолковая, но ведь трудяга! И не просто, а фанат. Готов не есть, не пить, а целыми сутками вкалывать. Если бы все так ишачили, давно уже коммунизм был. Ловчила? Смешно ска-

зять — достаточно взглянуть на его логово. Балбес? Ну уж нет — в своем деле дока, ас. А вот похитрей вопрос, наивный на вид, из драчливого детства: пойдешь с ним в разведку? И ответ вполне взрослый: насчет разведки не знаю, а вот то, что этому парню верить можно, — факт. Такие не продаются и не покупаются, как их ни заманивай, ни страшай. Матвей, конечно, не мог доказать этого, но он почувствовал в Ренате упрямую силу его предков — степных наездников, — и тогда привязался к нему. Может быть, потому, что он, Матвей, бросив вызов неведомым мрачным силам, тоже должен был быть настырным фанатом, но порой ощущал в себе и неуверенность, и робость, и даже страх, и даже подлое желанье плюнуть на все и на всех, завалиться на диванчик у телевизора и жить вот так — бездумно и безбедно. Но он приходил в пустой промерзший Ренатов дом, видел этого черта упрямого в ватнике на майку, замотанного в драный шарф, в очочках, еле сидящих на плоском носу, и Матвею делалось стыдно, он называл себя «шляпой с перышком», рохлей, слюнтяем, тюфяком, штафиркой, бабой, и в нем подымалась тогда та самая злость, которая города берет. Ведь смелость это так, для стороннего глаза, а на самом деле города берут от обиды и злости.

А разобравшись в этом, Матвей честно попытался понять смысл Ренатова дела. И Ренат столь же честно, без издевки постарался объяснить ему.

— Я изучаю литературу. Некоторые очень наивные и не очень грамотные люди считают, что мы должны помогать писателям лучше писать, а читателям — лучше понимать их. Ерунда. Этим критики, наверное, должны заниматься, но уж никак не мы. Мы — такие же ученые, как химики, физики, биологи, мы изучаем природу, мир. А литература — это часть мира, это такая же реальность, как... ну как деревья или камни. И вот минералогии, геологии, геохимики разбираются в составе этих камней, структурах, качествах, а мы точно так же копаемся в литературе, стараемся понять ее законы и структуры, и таким образом расширяем знания человечества о мире. Литература — огромна, и каждый из нас выбирает себе ее часть. Я вот — временные отношения в поэзии. По существу дела, я изучаю время — то, как оно отражается в маленькой части мира — в поэзии... Я коплю наши общие знания о времени.

— Ну и что же такое — время? — тревожно улыбался Матвей.

— Форма существования материи, если тебя интересует определение из учебника, — отвечал Ренат с виноватой улыбкой. — А если нет, то... Загадка. Самая великая загадка. Понимаешь, время — один из самых важных факторов эволюции живых организмов. И не исключено, что именно время таит разгадку принципов организации жизни во Вселенной.

Поминутно поправляя очки на переносице, Ренат читал:

— Что войны, что чума? Конеч им виден скорый;

Их приговор почти произнесен.

Но как нам быть с тем ужасом, который

Был бегом времени когда-то наречен?

— Ну и как же нам быть? — криво усмехнулся Матвей, пряча растерянность.

— Согласно моей гипотезе, — серьезно пояснял Ренат, — наиболее сильные эмоциональные всплески возникают на временных сломах, как я их условно определяю. Ну, например, Пушкинское:

Я вас любил. Любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит:
Я не хочу печалить вас ничем.

Это один из классических образцов лирической, то есть высокоэмоциональной поэзии, и одновременно — подтверждение моей гипотезы. Здесь в четырех строках — все три времени: прошлое, настоящее, будущее. Таких примеров у меня сотни, самых разных. Я разработал типологию временных отношений в лирике, систематизировал их. Эту гипотезу я почти доказал. Почти — работа еще не завершена. Но если докажу, то из нее произойдет другая гипотеза, которая строго говоря, пока еще не гипотеза, а лишь догадка. А именно: эмоциональная жизнь человека невозможна без пересечения в нем трех временных координат. То есть человек без прошлого — лишен эмоции, без будущего — обращен лишь в прошлое, ущербен и, по сути дела, мертв. Ну а настоящее — это вообще условная точка пересечения прошлого и будущего. Я не могу назвать человеком того, кто живет лишь мигмом настоящего, — это робот. Если сильно примитивизировать, то в самых общих чертах именно такова суть моих поисков...

— Ты считаешь, что это большое открытие? — осторожно спрашивал Матвей.

— Во-первых, открытия пока вовсе нет, есть догадки, не больше... А что касается открытия... Скажи, ты помнишь из школы, что сделало человека человеком?

— Еще бы — труд сделал!

— Вот именно. А если когда-нибудь мое открытие состоится, то оно будет означать, что человека сделало человеком осознание фактора времени. А труд только вытесал из обезьян материал для человека.

— Ну это ты, брат, загнул...

— На научном языке это звучит примерно так: «На мой взгляд, уважаемый коллега, ваша гипотеза нуждается в глубоко фундированных исследованиях», — смеялся Ренат. — Но только эта гипотеза выходит далеко за рамки литературы — в психологию, философию. Правда, литература тем и хороша, что выходит на самый широкий круг гносеологических проблем...

— Чего?

— Проблем познания. Но это все впереди, пока я за философию всерьез не брался, пока — вот, конкретика, — и он обеими руками хлопал по стопкам книг. — А вообще-то мне хочется верить, что все мы — дети времени, что от него зависит вся наша эмоциональная жизнь, жизнь души. Но это я только с тобой так распускаюсь, а в другое время не позволяю себе увлекаться далекой перспективой. Иначе — прости-прощай, моя научная объективность и добросовестность!

Не раз и не два «пытал» Матвей Рената и все примерял его мысли к своей потаенной работе, все старался понять, как же изменится человек, когда откроется ему будущее.

И однажды намекнул, в общих чертах рассказал о том, чем занят дни напролет на чердаке. Но Ренат отреагировал странно. «Что ж, — сказал он, — это дело интересное. Желаю удачи». И перевел разговор на другую тему...

...— Ты мой бирюк, — шептала Мила и водила пальчиком по его бороде. — Раз, два, три...

— Что ты считаешь?

— Седые волосы...

— Я уже старый.

— Только семь. Не старый.

— Я уже прожил одну жизнь, а теперь живу вторую. Я старше всех абхазских долгожителей.

— Наоборот, ты еще совсем маленький малыш в этой второй жизни. И у тебя есть детские тайны, как у малыша...

— Не надо, Мила.

— Но ведь я все равно узнаю, чем ты там занят на чердаке целыми днями.

— Узнаешь, если сделаю...

— Что?

— Самогонный аппарат, — засмеялся Матвей.

— Ты смеешься, потому что считаешь меня дурочкой. Сам не хочешь сказать, но я все равно догадалась...

— О! Я, кажется, снова слышу знаменитую колдунью!

— Смейся, смейся... Ты хочешь узнать будущее.

— Ты... Ты... — опешил Матвей. — Как ты догадалась?

Теперь засмеялась Мила.

— Вот так-то, таинственный бирюк! Колдовство!

— Нет, правда, откуда?

— Ты не знаешь, что ты говоришь по ночам?

— Неужели? — искренне удивился Матвей.

— Мне это приятно, — опять засмеялась Мила. — Это значит, что ты никогда не жил ни с кем... долго.

— И что ж я говорю?

— У тебя есть любимая фраза: «Человек должен знать будущее» — я ее раз пять уже слышала. А иногда ты говоришь так жалобно: «Слепые мы, слепые, как так можно!» — и будто всхлипываешь. Или вдруг заскрипишь зубами страшно и как крикнешь: «Ты покажешь будущее, покажешь!» Я сначала даже пугалась, а теперь привыкла. Я тебя вот так поглажу — и ты сразу успокаиваешься и спишь. Посапываешь, как малыш...

— Да, в разведку меня посылать нельзя, — улыбнулся Матвей смущенно.

— Я и не пушу тебя ни в какую разведку, выдумал! А еще... Обещай, что ты не будешь сердиться! Ну!

Матвей молчал.

— Ну обещай, а то не скажу!

— Обещаю.

— Один раз я решила попробовать... Я слышала, что если человек говорит во сне, то в это время надо взять его за мизинец и задавать любые вопросы — он ответит честно... Я так и сделала однажды... Я тебе только три вопроса задала.

— Какие? — спросил Матвей недовольно.

— Ну не сердись, пожалуйста, Матвей! Я спросила, правда

ли, что ты хочешь сделать что-то такое, чтобы угадать будущее. И ты сказал: «Да». Но это был второй вопрос, а сперва я спросила... Не сердись! Я спросила: любишь ли ты меня? И знаешь, что ты ответил?

— «Да», что же еще...

— Нет! Ты ответил: «Очень!»

— Это я могу и наяву сказать...

— Ну а мне хотелось, чтобы совсем-совсем-совсем правду...

— Правдолюбка, — улыбнулся Матвей и чмокнул ее в щеку. — А третий вопрос?

— Понимаешь, Матвей, ты во сне иногда говоришь о каком-то Единороге... Я не понимаю, что... И я спросила: «Кто такой Единорог?» Но ты ничего не ответил. Я снова спросила, и ты забормотал что-то про чуму, войну, время... Я не поняла. Кто это — Единорог?

— Да никто, — сказал Матвей. — Просто сказку, наверное, вспомнил. Я в детстве сказки любил, мифы... Спи, колдунья.

— Не могу...

— А что случилось?

— Знаешь, мне и хорошо и тревожно. Хорошо, потому что люблю тебя, а тревожно — не понимаю почему... Как будто что-то на нас надвигается... Я чувствую — вон с той стороны, из-за леса. Как будто там что-то собралось, скопилось и медленно-медленно ползет к нам через лес... Страшно.

— Не бойся, ведь я с тобой, — сказал он неуверенно.

— У тебя бывает так — когда и хорошо и страшно?

Он не ответил.

Еще бы не знать ему этого! Он испугался, как точно высказала Мила то же, что чувствовал он, и поразился этому совпадению, и сразу же понял, что не совпадение тут, а родство, единство, а значит — соединение судеб. И это, именно это, а не взвесь тревоги и счастья всерьез испугало его. Ведь он снова, как в летные годы, не мог, не имел права соединять свой путь с душой другого человека. Он бросил свою судьбу против неведомых, угрюмых сил и сам, только сам должен был выиграть или проиграть. А проигравший должен быть смят, растоптан, безвозвратно изувечен и выброшен вон из мира, который останется тогда несправедливым, немилосердным.

И никого не должно быть рядом, никто не должен быть вместе с ним сокрушен смертельным ударом.

Но вот не вышло. Не сумел. И теперь отвечает за Милу. Но нечем ему ответить, выбора нет. И остается идти тем же путем навстречу неизвестности и уповать на свои силы, на удачу, на благое предназначение, может быть, дарованное ему судьбой.

А Мила подсказала точно — именно там, куда уходит солнце, копилась и зрела угроза. Он не боялся, а только знал, что это близится схватка. Потому что одновременно, днями напролет работая над Машиной, чувствовал приближение последней спайки, последнего туго закрученного винта. Техника и вправду не подводила. И по мере долгой работы росла его любовь к Машине, и все ясней и ясней ощущал он, что Машина отвечает такой же любовью.

Он засыпал с предчувствием Сна. Но раз за разом предчув-

ствие обманывало, и ночи были пустыми, черными, а пробуждения беспамятными. Сон пришел неожиданно, когда Матвей, расслабленный и счастливый, заснул безо всяких предчувствий, уткнувшись в Милены пушистые волосы.

Вокруг был дождь — он шел из серого неба ровно, буднично, несильно, давно. Лес промок до мха, и на полянах земля уже не вмещала воду, и она выступала чистыми лужицами. Но на Матюшу дождь не попадал, а штаны он высоко подвернул и с радостью ступал по мокрой теплой земле, по прозрачным охлаждающим лужицам. Он уходил все дальше в лес и ничего не слышал там, кроме дождя. Вдалеке от опушки увидел знакомую березу — старую, толстую, раскоряченную, почерневшую, в Матюшин рост покрытую мхом. Он знал ее не один год, а недавно услышал слова былин: «У той ли березы, у покаянья», и сразу понял, что вот эта его береза и есть «покаяная». Он погладил ее мох, поглядел на соседние молодые березки и подумал, что они тоже когда-нибудь станут такие же покаяные. Он пожалел их всех и молча пообещал им потом, на обратном пути, придумать, как сделать так, чтобы они навсегда остались светлыми и стройными. За старой березой начинался лес — совсем глухой, страшный, и Матюша пошел к нему. «Вернись, сынок», — сказала береза маминым голосом. Он обернулся, посмотрел на высокий просвет серого неба, увидел, как капли дождя исчезают, не достигая его лица. Потом посмотрел на старую березу и покачал головой.

Он шел долго и слышал только дождь. И все чаще и чаще попадались на его пути кровавые бусинки брусники, но Матюша не трогал их, опасливо обходил стороной.

И вдруг дождь стих. Матюша видел, как падают тысячи одинаковых капель вокруг, сливаясь в чуть посверкивающие линии, видел, как вздрагивают листья и травы от дождя, но не слышал его. И в наступившей тишине раздались далекие, грузные шаги. Матюша замер в сладком испуге, счастливый и дрожащий. «Ваня, Ванечка!» — невольно вырвался зов. Но никто не откликнулся, не послышалось легкого волчьего бега, а тяжкие шаги Единорога близились.

И Матюша пошел навстречу. Раздвинул густые ветви — и вдруг увидел перед собой широкий ручей, по обоим бережкам плотно укрытый кустами и деревьями. Матюша помнил, что еще недавно никакого ручья здесь не было, а теперь вот — бежал. Прозрачный, быстрый, бесшумный. А шаги были совсем рядом — за ручьем, за плотной оградой зелени. И вдруг — стихли. Матюша понял, что вон там, где свисая над ручьем, дикий малинник переплелся с высокой травой, стоит Единорог. Мальчик услышал его прерывистое гулкое дыхание.

И вдруг — Единорог завопил, зашумел, затопал и стал уходить! Шаги его удалялись, удалялись и скоро стихли совсем. Со слезами на глазах слушал их Матюша. А потом настала тишина, и мальчик повернул назад. И как только он сделал первый шаг от ручья, по лесу пронесся вздох, и мощно, с шумом обрушился на Матюшу дождь. словно ушел, растворился невидимый покров над ним.

Он вынырнул из дождя, вбежал в сухой чистый дом, и там его встретил ласковый и грустный взгляд матери.

...— Что с тобой, Матвей? Ну что с тобой?

Он отмахивался от Милы, не отвечал. Ходил мрачный, страшный, перестал бриться и зарос почти до глаз. Уходил в лес, курил там по пачке за раз, возвращался — и падал лицом на топчан. Лежал молча, не спал. Приходила Мила, гладила его, целовала в затылок.

— Не надо приходить, — процедил он через силу.

— Ну что с тобой, Матвей?! Что?! Я не могу так!

Он и хотел ответить и знал, что надо ответить, но слова застревали в глотке, язык не ворочался. Все оказалось липой! Все! Все!

Сумасшедший фанатик ждал грома небесного, явления запретных сил в облике какого-нибудь там черного ангела Азраила, смертельной схватки и, может быть, смерти в сиянии славы, а может, неслыханной победы и жизни, встающей над прахом поверженного Зла! А вышел-то пшик! Блеф! Пустота!

...Вскоре после Преображения тихо отошла тетя Груня. Незадолго до этого отписала ему дом, он отнекивался, потом благодарил. Перед смертью слегла. Матвей и Мила ухаживали за ней, как за матерью, а она уж и говорить почти не могла, но улыбалась и тяжелой рукой крестила их обоих. А вечером, перед кончиной, поманила Матвея пригнуться и прошептала:

— Помирать-то легко. Хорошо. А вы любитесь.

Наутро умерла. И когда отпевали ее, голос Милы чисто взмывал под самый купол церкви, к добрым ангелам, поселенным там богомазом. И память по тете Груне осталась светлая, легкая, помогавшая жить.

Матвей и жил, вдвое больше и быстрее, вменяя в краткие дни все больше работы. Исхудал, лицо почернело, осунулось, а ходил веселый. Тревога ослабла, а ожидание удачи и счастья для всех вдруг разрослось, заполнило и его, и мир вокруг. Дело было не только в том, что Машина стояла почти готовая и совсем мелочишка оставалась до конца. Матвей неожиданно ощутил радость от слияния своей судьбы и судьбы Милы. Всю жизнь запрещал себе любить и еще недавно испугался за Милу, а тут вдруг понял, что сорок с лишним лет прожил дураком, не знавшим счастья родства душ. А теперь — узнал, оттого и жил вдвое больше, вдвое богаче.

И как-то так запросто, без всяких знамений и вещей снов, пришел миг, который Матвей ждал семь лет новой своей жизни. Он протер Машину тряпочкой, будто телевизор от пыли, — Машина действительно напоминала телевизор, деловито сел в кресло перед ней и без торжественной паузы приладил к себе клеммы. Он давно решил, что первую пробу проведет на себе. Ловко, как будто не впервые нажимая клавиши, набрал давно просчитанный код и затем уверенно и аккуратно надавил на большую, красную, выточенную из пуговицы от старой тети Груниной кофты кнопку «пуск». Машина заворчала, Матвей почувствовал тепло, идущее от клемм по телу. Он совсем не удивился, когда на посветлевшем экране увидел черты своего лица. Правда, он рассчитывал, что изображение будет четче, но и так нормально.

Машина имела одно ограничение — чисто техническое, которое потом несложно будет исправить: у нее был точечный

диапазон — она заглядывала на 17 с половиной лет вперед, ни больше ни меньше. Матвей вычислил, что ему будет тогда 58 лет, а на дворе — апрель. Он верил, что доживет. И без страха смотрел на экран, где должно было появиться его пятидесятилетнего восьмилетнее лицо.

Машина бурчала, клеммы грелись. Лицо на экране немного дрожало, плыло. Вот сейчас оно должно совсем расплыться, и на его месте возникнет будущее. Матвей учитывал и то, что он, возможно, не доживет до этого возраста — тогда на экране появится черное пятно. Что ж, пусть, ведь это все равно будет означать победу, и лучше короткая осмысленная жизнь, чем протяжные пустые годы. Ну давай!

Он просидел пятнадцать минут, а лицо на экране все так же дрожало и ничуть не менялось. И вот — щелкнула, вылетая, залипшая кнопка «пуск», клеммы сразу стали остывать. Так и было задумано — автоматика четко отключилась, сеанс окончен. Но главного не произошло!

Пустой, без мыслей и чувств, он повторил все сначала. И все без изменений повторилось. Матвей вдруг усомнился в расчете кода, бросился к микрокалькулятору, судорожно проверил... Все было правильно.

Ни техника, ни математика не подводили его. Спокойно и властно вмешались незримые силы и положили предел самонадеянным потугам.

Без грома и молний.

«Без грома и молний», — повторил он потерянно.

И впал в тоску. Онемел. И не мог ответить на Милено отчаянное: «Ну что же с тобой?!»

...А потом нашло оцепенение. С утра как сел за столом в большой комнате, так и сидел. Тянул одну «беломорину» за другой, забывал о них, они гасли, он закуривал снова. День был солнечный, октябрьский, синий с золотым, красивый до изнеможения глаз, а он не смотрел за окно. Скребся в дверь Карат, а он не слышал. Смеркалось, а он не замечал.

Вернулась со службы Мила. Заглянула в комнату, ничего не сказала. А потом пришла, села на диван, поджав ноги. Сняла со стенки ветхую тети Грунину гитару...

— Понедельник, понедельник, понедельник дорогой,

Ты пошли мне, понедельник, непогоду и покой...

И он вдруг заново увидел ее — с распушенными по плечам пушистыми волосами, услышал тоненький ее голос и то, как звенело и переливалось в нем птичье «ль»... И понял, что здесь спасение, или хотя бы возможность спасения, или хотя бы надежда на спасение, но даже если только тень надежды, то спасибо милосердной судьбе за эту тень.

Стоя перед диваном на коленях, уткнувшись бородой в Милены нежные руки, он рассказал ей все — до конца. Рассказал сбивчиво и, как казалось ему, неясно, путано, но она все поняла.

— Мы начнем сначала. Потерпи, милый, — сказала шепотом на ухо, и он вдруг услышал не ее голос, а тот странный голос матери-березы из сна, остерегавший Матюшу. — Покажи мне Машину, — попросила Мила обычным голосом, и он повел ее на чердак.

Машина стояла холодная, равнодушная, и Матвей вдруг понял, что некогда шедший от нее ток любви иссяк. Стояла мертвая железка.

А Мила вдруг загорелась:

— Матвей, а дай мне попробовать!

Он пожал плечами.

— Какой толк?

— Ну пусть никакого, дай!

— Пожалуйста.

Мила села, и он закрепил клеммы. На микрокалькуляторе посчитал код для Милы.

— Матвей, значит, семнадцать с половиной лет? Это... мне будет сорок один! Как тебе сейчас! Ой, совсем старуха! — засмеялась Мила.

Он набрал код, нажал «пуск», машина загудела, и на экране появились черты лица Милы, дрожащие и чуть расплывчатые.

— Ой, смотри, смотри! — обрадовалась она.

— Да что смотреть, — отмахнулся Матвей. — Это ведь ты теперешняя. Ящик с такой картинкой тебе любой слесарь смастерит...

— А жжется, — сказала Мила довольно и прикоснулась к клеммам. — Значит, работает.

— Как же, работает она, — проворчал Матвей, почему-то разом успокоившись и не держа зла на Машину. В конце концов она-то чем виновата? Железка — и все.

Вдруг гудение стихло и перешло как бы в шорох. Одновременно черты лица Милы на экране поплыли, смешались, на его месте забегали, изгибаясь и мигая, прерывистые линии, черточки, экран стал темнеть, на нем вспыхивали яркие точки, потом он посветлел по краям, а темнота начала сжиматься к центру...

Матвей до боли вцепился в ручку кресла: он понял, что сейчас на экране возникнет темное пятно. Еще недавно он был готов увидеть его с торжеством, как доказательство победы, но сейчас! И сквозь ужас беспомощности одно лишь вспомнил с облегчением: он не объяснил Миле значение черного пятна! Не успел объяснить! И понял, что обманет: посетует на то, что Машина так и не заработала. А она заработала!

— Гляди, гляди, Матвей! — радостно крикнула Мила.

Неожиданно пятно стало как бы светлеть изнутри, и вот на экране образовалось темное кольцо, оно стремительно утончалось, вот исчезло, экран непонятным образом будто бы обрел глубину, и из нее стали медленно проступать неразборчивые, размытые черты лица. И вдруг, словно с экрана разом убрали пелену, очистили его от тумана, и возникло лицо. Четко, гораздо четче, чем прежде. Женщина с экрана смотрела прямо в глаза Миле, Матвею. Он узнал ее. Рука Матвея лежала на плече сегодняшней, живой Милы, а глаза видели ту, другую...

— Кто это?! Матвей, кто?! — закричала она.

Обрузгшее, в морщинах и тяжелых складках, с жидкими, растрепанными космами волос, бессмысленным взглядом заплывших глаз... Один глаз дергался в тике, и каждый раз одновременно, как будто в страшной ухмылке, кривилась вывороченная губа... Но это была она, Мила...

— Нет, нет! Это не я! Матвей, это не я, не я!

Страшная женщина на экране будто всматривалась в Милу и Матвея, будто старалась разглядеть их, а что-то мешало ей, и вдруг, словно разглядела наконец, беззвучно, идиотски засмеялась, вывалив толстый язык. Тряслись складки лица, жидкие волосы, мешки под безумными глазами...

Живая Мила вжалась в кресло и чужим голосом хрипела: «Нет!.. нет... нет!»

Щелкнула кнопка «пуск», экран погас. Матвей вышел из оцепенения, лихорадочно сорвал с Милы клеммы, она обмякла, не могла встать, он подхватил ее на руки, снес вниз, в комнату, положил на диван. Закрыв глаза, она мерно качала головой и только одно слово с хрипом выталкивала из себя: «Нет... нет... нет».

Всю ночь он провел рядом с ней, держа ее руку в своей. Гладил, напевал материнскую колыбельную, которая вдруг вспомнилась сама собой. В сердце своем обращался с мольбой ко всему, что было в его жизни доброго, — к матери, к отцу, к высокому небу, к молчаливым лесам и полям. Молил их спасти любимую, охранить ее, пронести сквозь беду невредимо...

Сном забылся под утро, а проснулся от яркого солнца и гавканья Карата. Милы рядом не было. Посмотрел на часы — одиннадцать! Обежал дом — не было Милы.

И тогда он сообразил: зная о ней все, изучив, как свою, ее душу и каждый изгиб тела, он не знал простого, — ее фамилии, адреса, телефона...

Проклиная хромоту, бежал к храму Успенья Богородицы. Застал старушку прихожанку, дневавшую там и ночевавшую. Она рассказала, что Мила была совсем недавно, часа два назад. И долго молилась у иконы Богоматери, стояла на коленях. Старушка порадовалась: раньше-то Милочка вовсе не молилась, а тут так истово... А потом ушла. Вроде к станции. Матвей нашел отца Никанора, и тот развел руками: знаю, конечно, знаю рабу божью Людмилу и люблю за чистую душу, ну а больше мне знать ни к чему, на что нам адреса-фамилии?

Он бросился в город. День за днем обходил его улицы, вглядывался в женщин. Понимал, что это бессмыслица, но не мог прекратить поиски. Иногда вдруг обжигала мысль: а если она сейчас вернулась? И кидался обратно в поселок. Но там его встречал пустой дом и унылый, изголодавшийся пес. Матвей снова ехал в город и один за другим обходил его храмы, слушал хоры, а потом дожидался хористов, смотрел им в лица... Бывало, ночевал на вокзале, чтобы с ранней обедни снова начать обходить все «сорок сороков» московских церквей... Однажды задремал на вокзальной скамейке. Не заметив, уронил на пол кепку. А когда очнулся, нашел в ней два пятака и новенький гривенник... Сначала не понял — откуда это, а потом пошел взглянуть на себя в зеркало: увидел исхудавшего, изможденного старика с седой бородой, в грязном, истершемся ватнике. И вернулся домой.

...Карат залаял весело. Матвей разбирался в его лае. Тихий, почти скулящий: «Пусти гулять!», или лютой зимой: «Пусти в комнату, замерз!»; спокойный, короткий, остерегающий: «У огра-

ды остановился чужой»; злобный, громкий, частый: «Чужой вошел на участок!»; тоже громкий, но залиvistый, веселый: «К нам пришел знакомый!» А знакомый — это значит Ренат, иногда — дядя Коля Паничкин. Матвей с утра уже был у Рената, попросил чего-нибудь почитать, тот порывлся, достал том: «Читал?» — «Нет». — «Да ты что! — остоленел Ренат. — Пока не прочтешь, я тебя культурным человеком не считаю!» Матвей пригляделся: «Махабхарата». «Слушай, саям-алейкум, ты мне сейчас дал бы чего попросе, такое настроение. Юлиана Семенова нет?» — «Есть Юлиан Отступник на французском, но пока не прочтешь «Махабхарату», я тебе ничего не дам». Делать нечего, Матвей завалился с книгой на топчан... и как-то быстренько задремал. Услышав залиvistый лай Карата, очухался и решил, что Ренат зачем-то пришел. Нехотя поднялся, лениво прошел к крыльцу. В сенях крутил хвостом и лаял Карат. Матвей открыл дверь, приготовив приветствие: «Спасибо, саям-алейкум, за книжку — идеальное средство от бессонницы», но слова замерли... Внизу, у крыльца, опираясь на палку, стояла Ядвига Витольдовна. Карат рванулся к старухе и почтительно обнюхал ее.

— Прошу простить меня, уважаемый Матвей, — медленно сказала она с явным акцентом, — у меня маленькое несчастье. Совсем пропал звук у телевизора. Я думала, что оглохла, но потом включила радио и все хорошо слышала. Значит, пропал звук у телевизора. Вы не могли бы посмотреть этот аппарат? Может быть, еще возможно вернуть ему звук?

— Да бога ради, разумеется, сейчас посмотрю, — охотно откликнулся Матвей.

— Я вам чрезвычайно благодарна, — говорила старуха по пути к дому. — Знаете, я еще не очень старая женщина, мне семьдесят семь лет, и я все могу сама. Я и читать могу, но у меня стали быстро уставать глаза, и я почти перестала выписывать газеты. Но я привыкла быть в курсе всех дел жизни и смотрю телевизор — от него мои глаза не устают. Но пропал звук! Прекрасное изображение, а звука совсем нет.

— Звук, Ядвига Витольдовна, не самое страшное, авось починим.

— Я буду так благодарна вам, уважаемый Матвей.

Дело и вправду оказалось пустяковое — от старости телевизор совсем разболтался и требовал просто капитальной чистки. Матвей сбегал домой, натащил кучу деталей, и уже через час старуха благодарила его:

— Вы замечательный мастер, уважаемый Матвей! Ведь не только появился прекрасный звук, но и изображение намного лучше стало! Я напою вас чаем!

Он присел к столу и огляделся. Ядвига жила чисто и скромно: этажерка с десятком книг, старенький, но еще крепкий платяной шкаф, маленькое уютное кресло у телевизора, короткая кровать, застеленная клетчатым пледом, рядом — столик с шитьем... Матвей провел взглядом по шитью — и вдруг вернулся, пригляделся. А потом даже встал, чтобы удостовериться: да, действительно, на столике были сложены детские платища, штанишки, рубашечки, а одна распашонка лежала раскрытая,

но еще не считая. Матвей улыбнулся: подрабатывает старушка, что ли?

Она как раз вошла в комнату с чайником в руках.

— Мы будем пить чай и смотреть телевизор, уважаемый Матвей! И нам все будет слышно!

— Ядвига Витольдовна, — сказал он, — у вас внуки есть?

— О, нет, нет! — покачала она головой. — Я совсем одна, совсем. — Виновато улыбнулась и осторожно поставила чайник на подставку.

— А это? Хобби? — шутливо спросил Матвей, указывая на детские вещички.

— О, это в воду, в воду, — и она опять неловко улыбнулась — то ли жалобно, то ли просительно.

— Куда, простите? — не понял Матвей.

— Это поплывет по реке, далеко-далеко... Садитесь, я налью вам чаю. Он свежей заварки и чудно пахнет.

«Не дай мне бог сойти с ума», — подумал ошарашенный Матвей.

Ядвига Витольдовна налила ему чаю, придвинула крохотную сахарницу и блюдечко.

— Берите сахар, уважаемый Матвей, — сказала чинно и сама отхлебнула. — О, вполне удачно, вполне! А варенье у меня, конечно, свое — вишневое, крыжовенное, малиновое, смородиновое, — она указала на четыре одинаковые хрустальные вазочки с вареньем и без паузы продолжила: — Я была первой красавицей Варшавы...

«Бедняга», — подумал Матвей.

— Разумеется, сейчас в это трудно поверить, но это было так. В двадцать восьмом году я танцевала с Дядеком! Ну — с Пилсудским, все его звали Дядек, по-польски — дедушка, и, честно признаться, он был прелесть! В конце зимы на балу в Вильнуве он сам пригласил меня, и вся Варшава смотрела на нас. Он, конечно, был реакционер, но тогда я этого не понимала. Я помню ту зиму, ту весну — вокруг только и разговоров про будущие выборы в сейм, а у меня голова шла кругом от поклонников и кавалеров. Из высшего общества, разумеется... Мой отец был... Впрочем, теперь это неважно... — Она чопорно отхлебнула чай, вновь довольно покивала. — А потом я вышла замуж. Если честно признаться — не вышла, а убежала. Отец был против того, чтобы я выходила за небогатого и неродовитого студента. Да мало этого — еще и коммуниста! Скандал. Но я все-таки вышла замуж, потому что очень любила Збигнева. А потом мы оказались в Москве — Збигнев стал работать в Коминтерне. И все было чудесно. Родилась Басенька, потом — Янек. Мы жили... О, это был кусочек настоящего счастья... До мая тридцать восьмого года, до всей этой ужасной истории...

Она помолчала. Матвей слушал настороженно.

— Вы знаете? — вдруг строго спросила она.

— Нет, нет, ничего не знаю, — поспешил он ответить.

— В мае тридцать восьмого Коминтерн распустил Коммунистическую партию Польши по ложному обвинению в измене ее руководства. Это был страшный удар... Ваш Сталин нанес страшный удар польским патриотам... Впрочем, я не хочу об

этом говорить, история уже осудила его. А мы со Збигневом и детьми вскоре оказались в Белоруссии. С сентября тридцать девятого он работал в западных районах... А потом началась война. Збигнев сразу ушел в войска, мы с детьми должны были эвакуироваться, но не успели. С Басенькой и Янеком я убежала в деревню, к знакомым. Пришли немцы, но мы были там свои, нас, конечно, никто не выдал. И так — до апреля сорок второго года... до второго апреля... Они согнали детей со всех окрестных сел, много-много ребят, приходили в дома и выгоняли только детей — их было несколько сотен и совсем малышей и ребят постарше. Они повели их к реке, она называется Свольно. Снег еще не сошел, и на реке был лед, тонкий, весь в полыньях. Они сталкивали их в воду, а тех, кто мог плыть, стреляли из автоматов. Многие матери бросились за детьми в воду, я бы тоже бросилась, но в толпе потеряла Басеньку и Янека, я их вначале видела, Басенька держала Янека за руку и, как большая, гладила... вот так, по голове, — Ядвига Витольдовна провела рукой в полуметре от пола. — Басеньке было уже шесть, а Янеку — только четыре. А потом они пропали в этой толпе, я кричала, но вокруг все кричали, мы не знали, куда их ведут, мы думали, их будут угонять в Германию, а на Басеньке были тонкие осенние сапожки — я думала, ей будет холодно, — а у Янека такие маленькие валеночки... Они все утонули, уважаемый Матвей, только шапочки остались на воде и уплыли далеко-далеко... Я не знала, что в то время Збигнев был уже неживой... Потом меня угнали в Германию... Ну я не хочу говорить об этом... И после, здесь, в России... нет, не хочу... А после войны я приехала туда, к Свольно. Встретила многих своих соседок, у них тоже не было деток. И мы решили отмечать их память. К каждой годовщине мы шьем для них платица, рубашечки и второго апреля опускаем туда, в реку... Каждый год я ездила туда, а теперь вот уже три года ездить не могу. Но я посылаю все, что шью, по почте моей дорогой соседке Люции Казимировне. У нее было трое деток — Марысе было уже двенадцать — она была красивая серьезная девочка с большой косой, Витеку — восемь, и он очень мило дружил с Басенькой, мы с Люцией Казимировной даже шутили, что поженим их когда-нибудь, а Збышеку — только пять, он был ужасно смешливый, я с утра до вечера слышала его смех... Вот сейчас закончу распашонку для Янека, она простая, но теплая. А потом я придумала — по телевизору видела, как танцевали девочки из школьного ансамбля, и у них были чудесные платица, очень нарядные — здесь оборочки, здесь маленький вырез и такие пышные рукавчики. Я все хорошо разглядела и теперь сошью такое Басеньке... Пейте чай, уважаемый Матвей, — она указала на варенье. — Пожалуйста, не обижайте меня.

Матвей вспомнил о чае и залпом выпил свою чашку — горло пересохло.

— Я налью еще, — улыбнулась Ядвига Витольдовна.

Они долго сидели молча. Наконец старуха тихо сказала:

— А теперь, уважаемый Матвей, расскажите, что случилось у вас. Я так понимаю, что эта милая девушка вас покинула? Я давно ее не вижу.

— Да что теперь говорить, — пробормотал Матвей растерянно.

— Надо, надо говорить. Было бы кому слушать. А я готова слушать вас долго. Я терпеливая и всему знаю цену, поверьте.

— Я верю вам, Ядвига Витольдовна, — вдруг вырвалось у Матвея.

И он рассказывал до темноты.

— Да ты никак не поднялся еще? — с удивлением и укором сказал дядя Коля, когда в восемь утра заспанный Матвей под лай Карата открыл дверь.

Дядя Коля был трезв и чист, серьезен и даже немного торжествен — так показалось Матвею, когда он пропускал его в дом. Гость по-хозяйски уселся за столом, зачем-то постучал по полу, будто пробуя его крепким сапогом.

— Сидай, — пригласил Матвея. — И слухай, дело серьезное.

Поскольку все действительно серьезные дела для Матвея миновали, он не торопясь ополоснул лицо из рукомойника, отпустил Карата побегать, поставил на плиту чайник и только после этого сел напротив дяди Коли. Тот ждал со значительным видом. Матвей закурил.

— Ну, дядь Коль, давай, чего у тебя стряслось с утра пораньше?

— Вот сам и рассуди, — начал он вдруг горячо, — место у нас глухое, народу, считай, нет почти. Зимой, конечно. Так?

— Ну так, так, — улыбнулся Матвей.

— Руки у тебя с головой, то есть, значит, по технической части ты соображаешь. Теперь смотри сам — обстановка напряженная, не ровен час, — жажнет, и поминай, как звали.

— Это ты о чем?

— О положении в мире, — весомо сказал дядя Коля.

Матвей засмеялся.

— Ты чего, дядь Коль, предлагаешь над нашей Березовкой систему противоракетной обороны соорудить?

— Не шуткуй, — строго оборвал его дядя Коля. — Ты вникни, а там уж посмеемся. От напряженной обстановки — общее расстройство нервов. Как говорится, ни сна, ни отдыха. Опять же — пенсия. Восемьдесят шесть рублей — не разбежишься. У тебя побольше, но тоже через край-то не переливается...

— Мне хватает...

— Хватает! — с издевкой протянул дядя Коля. — То-то твоя молодуха сбежала! Но это я так, к слову, — осторожно поправился он. — А суть такая, что пора начинать.

— Чего начинать? — давя смех, спросил Матвей.

— Экий ты, парень, бестолковый! — рассердился старик. — Я уж тебе все по косточкам разложил, а ты все чевокаешь!

— Да ты говори прямо!

— Куда прямей-то! Аппарат пора ставить — ясное ж дело! Не на продажу — этого ни-ни, я себе не враг, но для души-то — одна прямая польза. Дешевле — раз, место наше одинокое — два, успокоение нервам — три, ну и так далее. У меня чего-то не выходит, а у тебя технические руки, у тебя пойдет!

— Самогонку, что ли, гнать? — наконец понял Матвей.

— Для общего блага, — торжественно сказал дядя Коля.

— Не-е, дядя Коля, ты меня в такие истории не втравляй.

— От-т чудак-человек! Да кто ж в нашей глухомани нюхать будет! У нас участкового, когда надо, не дозовешься, а чтоб он сам прибыл — я такого за тридцать лет не помню.

— Да зачем тебе самогон?

— Говорю ведь — восемьдесят шесть рублей! По нынешним временам это ж не деньги, а один намск.

— Дядь Коля, тебе восьмой десяток, пора и бросить пить-то.

— Бро-осить? — возмутился старик. — Да с чем я оста-нусь тогда?

— То есть?

— Вот тебе и то есть! До моих лет доживешь — тогда пой-мешь. Мне жизни осталось — может, год, может, три, а мо-жет, и до субботы не дотяну. Это ж понимать надо! Ты-то мужик молодой, тебе еще бабу подавай, а я? Мне чего ждать, каких таких радостей? А как выпью — так я сам себе хозяин. Захочу — и будет мне двадцать. Думаешь, чего пою-то, чего играю ночь-заполночь? Это ж я дружков своих созываю. Иду по улице, будто в двадцать седьмом году, и жду — сейчас вот оттуда Митька Савелов выскочит, а с того проулка — Петька да Гришка Ковалевы — и уж на всю ночь гульба! У околицы уже девчата хороводятся, Сенька-гармонист с тальяночкой своей...

Дядя Коля вдруг замолчал, и Матвей увидел, как перед сча-стливыми его глазами побежали, побежали живые картинки — и лица, и слова, и песни, и еще много другого, уже ставшего небылицей, пылью, уже развеянного временем и только малыми песчинками застрявшего в памяти старика. «А почему, соб-ственно, малыми?» — спросил себя Матвей. Старик сохранил все, и нужен только легкий толчок, чтобы всплыло оно неру-шимым и живым.

А старик сгорбился, ушел в память, и вдруг Матвей увидел на его щеке медленную тягучую слезу.

«Ну что тут сделаешь, придется с утра начинать», — вздох-нул малопьющий Матвей и полез искать бутылку.

Оба быстро опьянели. Дядя Коля обнимал Матвея, тыкаясь в бороду, а тот, фальшивя, терзал гитарные струны и печаль-ным речитативом тянул одну из песен, услышанных от Милы:

И в Коломенском осень...

Подобны бесплодным колосьям

Завитушки барокко, стремясь перейти в рококо.

Мы на них поглядим, ни о чем объяснения не спросим.

Экспонат невредим, уцелеть удалось им.

Это так одиноко, и так это все далеко.

Этих знаков не косим...

— Нет! — кричал дядя Коля. — Это не наша песня! Она не зовет! Давай нашу:

Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью,

Преодолеть пространство и простор!..

И невольно подпевая ему, Матвей вдруг ощутил обратный ход времени и оказался не то в двадцатых, не то в тридцатых

годах, и каждой клеточкой тела, каждой паутинкой души стал человеком того времени, стремящимся все выше, и выше, и выше, в счастливые сороковые, сияющие пятидесятые, и дальше, дальше — в изобильное будущее, перед которым поповский рай покажется скудным и жалким, скучным и пустым... А дядя Коля уже не плакал и не жаловался: из своих убогих восьмидесятых он вызвал счастливые двадцатые, и они пришли к нему, гремя и ликуя.

...Уже после полудня дядя Коля вышел от Матвея, и холодный ветер разом отрезвил его. Он нагнулся, зачерпнул ладонью снега, потер им лицо. И степенным стариковским шагом направился к дому — на соседнюю улицу. Он еще не дошел до угла, когда там внезапно появилась и затормозила черная «Волга». Из нее не спеша вышли двое мужчин. Дядя Коля замедлил шаг. «Это еще кто такие?» — спросил он себя, и неприятный холодок пробежал по его спине. Люди не понравились дяде Коле. А они огляделись и лениво направились навстречу ему. «Господи, — совсем опешил старик. — Вот тебе и глухомань, вот тебе и участковый! Накаркал, дурак!» И остановился.

— Товарищ, — крикнул ему один из мужчин, — можно вас на минуточку?

«Ой, не к добру», — подумал он и ответил угодливо:

— На минуточку — это пожалуйста. Отчего же нельзя на минуточку...

— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где тут живет Матвей-инвалид? — спросил, приближаясь, тот, что был повыше и похудей, чернявый.

— А чего ж не знать! — обрадовался дядя Коля. — Вона его дом, крыша зеленая.

— А сам он где сейчас?

— Да там и сидит... А вы, товарищи, откуда будете?

— Мы так... по пенсионным делам, — пробормотал второй, толстый.

— Это — да, он — инвалид, пенсию получает, — покивал дядя Коля. — Там у него собака, смотрите, — сказал в спины мужчин, уже шедших к дому Матвея.

«Как же! — думал он, уходя побыстрей и в то же время стараясь не терять степенности. — Ежели бы по пенсионным делам на черных «Волгах» разъезжали, у нас бы у всех пенсии были по полтыщи. Небось обехаэс. Накрыли Мотьку на нетрудовых доходах. А и правильно, поделом — мало что военную пенсию получает, так еще на ремонте зашибает — кому телевизор, кому уют... То-то от аппарату отказался — хватает ему, говорит! Еще бы не хватало... А теперь небось прижучат его. И правильно. Жизнь — она штука справедливая».

А мужчины замедлили у калитки.

— Может, не стоит сегодня, Семен? — сказал Костя.

— А почему? — удивился тот.

— Да как-то... не чувствую себя готовым. Очень уже быстро нашли. Надо продумать разговор, с Дедом посоветоваться...

— А может, сразу накрою? — азартно спросил Семен.

В доме коротко, настороженно гавкнула собака, почуяв, очевидно, чужих людей.

— Слышишь? — сказал Костя. — Думаешь, он так тебе сразу и выложит про зеркало? Наверняка тот еще жук...

— Это конечно, — согласился Семен. — Правильно, без Деда нельзя. Мы нашли, а уж теперь пускай сам. Поехали.

И они быстро вернулись к машине.

...Ренат стал ходить по комнате — торопливо, даже суетливо: туда-сюда, туда-сюда. Он поминутно поправлял очки и сквозь них испуганно косил на Матвея. Тот смотрел на приятеля с испугом: не ждал такого. После ухода дяди Коли Матвей стал маяться, места себе не находил, от выпитого противно загудела и закружилась голова, и он по морозцу побежал к Ренату. И там, почти неожиданно для себя, рассказал ему о прошлогодних событиях. Все — как недавно Ядвиге Витольдовне. Старуха тогда замолчала так надолго, что Матвей решил, будто она ничего не поняла. Потом сказала: «Человек не может быть богом». Перекрестила по-католически и ласково проводила Матвея — мол, привыкла ложиться пораньше.

А Ренат, выслушав, забежал, задержался — и все молчком. Вдруг как-то боком, в углу встал, забормотал: «Там, где жили свиристели, Где качались тихо ели, Пролетели, улетели Стая легких времий...» Испуганно, исподлобья взглянул на Матвея и снова забормотал, как молитву, забубнил: «В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая легких времий...» И тут кинулся к Матвею, с разбегу бухнулся на колени, завопил дурным голосом:

— Ты гений, гений!

Очки свалились-таки, он стал шарить по полу, ползал, тыкался в Матвеевы ноги и все повторял: «Гений, гений!»

— Брось, Ренат, что за шутки? — недовольно сказал Матвей.

— Ты гений! — заорал он опять и вскочил с колен. — Всех времен и народов!! Как же мне повезло в жизни, что я знаком с тобой!

— Перестань, — раздраженно буркнул Матвей.

— Ты что, не понимаешь?! — возмущился Ренат. — Ты сделал грандиозное открытие. Доказал, что будущее существует в нас всегда! Насчет прошлого и настоящего никто не сомневался, а вот будущее представлялось какой-то зыбкой неопределенностью. Твоя Машина строит образ будущего на основе энцефалограммы, кардиограммы, принимает во внимание и ритм дыхания, и биополе человека, ведь так?

— Ну да, примерно, — согласился Матвей вяло: не о том он думал, когда рассказывал Ренату о Машине.

— Сигналы сегодняшнего состояния человека она экстраполирует в будущее, расшифровывает, рассчитывает весь процесс их изменения на семнадцать лет! Это значит, что время заложено в нас! Я то же самое сколько лет пытаюсь доказать на материале литературы, а ты... Ты — гений! И то, что мы называем судьбой, роком — это программа! Карма — программа! «Не властны мы в самих себе». Гениально! И тогда само собой разумеется, что моя гипотеза вовсе не гипотеза — аксиома! Человек есть человек потому и постольку, поскольку в нем заложены три временные координаты!

Ренат восторженно носился по комнате, вдруг ему стало тесно, он кулаком распахнул дверь, с конским топотом пробежал по другой комнате, по веранде.

— Не властны мы в самих себе! — заорал он оттуда счастливо.

— А чего радоваться? — угрюмо спросил Матвей. — Чего же хорошего, что не властны?

Ренат вернулся в комнату, сел, немного успокоившись, напротив Матвея.

— Как всякий гений, ты чудак, — сказал снисходительно. — И рядом с тобой должен быть человек с умом средним, но дисциплинированным. То есть я. Иначе ты сам себя не поймешь. Я не тому радуюсь, что мы в себе не властны. Если бы ты доказал, что властны, я бы точно так же был счастлив. Ученому безразличен знак открытия — плюс или минус, да или нет — ему важно знание само по себе и его значение. А значение знания, которое ты добыл, — всемирно. Революционно.

— Ну а как же Мила? — вдруг сказал Матвей, никак не разделяя радости Рената.

— Что — Мила? — будто не понял он.

— Ей-то как теперь жить?

— Ну... ну, — растерялся Ренат, — это я, ей-богу, не знаю... Ну как-нибудь образуется...

— Вот я и спрашиваю: как образуется? — гнул свое Матвей.

— Да откуда мне знать! — крикнул Ренат раздраженно. — При чем тут она? При чем тут ты, я, дядя Коля?! Все мы в конце концов смертны! Речь — о человечестве! Твое открытие меняет судьбу человечества, его взгляд на себя, ты что, не понимаешь?! Это даже смешно, это картинка, достойная пера: сидит бухой гений в ватнике и талдычит про какую-то Милу, а сам только что цивилизацию перевернул!

Матвей пустил длинным армейским матюгом и резко пошел к двери. Ренат кинулся ему на плечи, удержал.

— Ты псих! — кричал он радостно. — Ты классический гений-идиот! Два года назад, когда ты мне первый раз про свой план рассказал, я решил, что ты шизанулся. Каюсь — даже на книжной толкучке про тебя как анекдот рассказывал. Теперь я точно вижу — ты псих! Но и гений, вот что грандиозно!

Ренат обнял его, тянулся поцеловать. Матвей отпихнул его, пошел прочь.

— Проспишься, приходи! — кричал Ренат вдогонку. — Еще тяпнем, Нобелевский ты мой!

Пошел снег — сначала неспешно, потом быстрее, быстрее и вдруг повалил густой, тяжелый... Матвей остановился и почему-то оглянулся на свои следы — их засыпало, прятало на глазах. Так он и дошел до дома, все время оборачиваясь на свои исчезающие следы.

...Иван-Царевич с отцовским лицом. Волк в густой мягкой шерсти, с грустными глазами. У него на загривке — застывшая золотая Белка.

Матюша оглянулся еще раз и запомнил их на всю жизнь, но ни «до свидания», ни тем более «прощайте» сказать не сумел.

Лето кончалось, изнутри леса проступала осень — редкими, желтеющими листьями, пожухшей травой. Бабочки исчезали, воздух становился суше и прозрачней. Тихо было в лесу, только Матюшины шаги шуршали. В эту сторону он не ходил раньше, и, когда Иван-Царевич указал ему путь, мальчик удивился — как это он весь лес облазил, а там никогда не бывал...

Он снова обернулся, но не увидел друзей — вокруг стояли темные ели. Большие — до неба и маленькие — до облаков. Облака были рваные, в дырках, их низко несслышный ветер, они цеплялись за елки, снова рвались и улетали маленькими клочьями.

Матюша пошел дальше, и отчего-то захотелось ему крикнуть — не позвать, а просто крикнуть погромче: «Эге-гей!» Но он не сумел: то ли голос исчез, то ли нельзя было в этом лесу кричать.

И ничего не случилось, ничто не изменилось, но вдруг замерло Матюшино сердце, и весь он наполнился предчувствием. И сразу раздались знакомые тяжелые шаги, сразу — близкие, и послышалось натужное гулкое дыхание огромного существа. Матюша застыл, а потом побежал, сорвался с места и побежал, задевая елки, укалываясь о них, без страха наступая на бусинки брусники, побежал навстречу шагам. И сам собой, легко вырвался крик: «Я здесь!» «Матю-юша-аа!» — услышал он дальний, замирающий голос матери, но не остановился, не обернулся на него, а бежал все быстрее, отступая, падая, поднимаясь, уже задыхаясь, бежал... И только одного боялся: что снова незванные хранители бросят перед ним зеркальный ручей. И лишь на миг замедлил: понял, что за этими вот густыми, переплетенными ветвями откроется сейчас поляна — и там будет Он. Матюша набрал полную грудь воздуха и обеими руками из всех сил раздвинул, как распахнул, ветви.

И увидел Единорога.

Тот стоял посередине полянки, заняв ее почти целиком, — неправдоподобно огромный, закрывающий небо и свет. Налитыми кровью большими глазами он смотрел на мальчика, победно выставив могучий рог.

Оба застыли, глядя друг на друга. Единорог медленно мигнул. И вдруг заговорил, и от его голоса задрожали деревья, трава, и как будто земля колыхнулась.

— Зачем ты искал меня?

— Я искал... я искал тебя, — ответил мальчик с испугом и восторгом, — потому что ты — самый чудесный в нашей сказке. Ты — самый большой и сильный, и чудесный!

— Чего ты хочешь?

— Я... — смешался мальчик. — Я ничего не хочу. Я просто хотел тебя видеть.

Единорог осклабился и коротко хохотнул, тряся складками шкуры.

— А тебе сказали, что меня нельзя просто увидеть? Всех, кто видит меня, я или наказываю, или награждаю, сказали тебе?

— Да, я знаю, — собрав всю смелость, звонко ответил Матюша.

— И чего ты попросишь у меня?

— Мне ничего не надо, — тихо ответил он.

Единорог шумно вздохнул и прикрыл кровавые глаза.

— Кто научил тебя ничего не просить?

— Никто... Я сам.

— Мне нравятся мальчики, которые ничего не просят, — сказал Единорог и снова открыл глаза. Уперся взглядом в Матюшу, но не было в том взгляде ни доброты, ни симпатии. — Ты хочешь всего добиться сам?

— Я постарюсь, — робко ответил Матюша.

— Мне нравятся мальчики, которые хотят всего добиться сами, — снова осклабился Единорог. — Иногда из них выходят сильные мужчины. Очень храбрые мужчины. Очень уверенные в себе.

Единорог хрипло засмеялся, листва посыпалась наземь.

— И когда они бросают вызов мне, я не отказываю, я прихожу. Ведь они такие сильные и храбрые. Мне нравится делать из них пустое место, ничто.

Единорог наклонил голову, горой нависая над Матюшей.

— Иди, мальчик. Добейся в жизни всего, я не стану мешать. Но знай свое место и никогда, даже в мыслях, не зови меня. Отныне ты только человек, и не тебе бороться со мной. Иди, сказка кончилась.

И тут перед глазами Матюши, как на экране Машины, Единорог беззвучно задрожал, черты его гигантского тела поплыли, смешались, исчезли, стало темно, в темноте замигали яркие точки, и вдруг разом все посветлело, очистилось, и уже не было ни леса, ни поляны, а на их месте возникло четко, ярко лицо сорокалетнего Матвея: поседевшая борода, запавшие черные глаза... «Мама! — жалобно закричал Матюша. — Мамочка!» — впервые запросил помощи, и немедленно вошла в него, заполнила слух и душу старенькая мамина колыбельная: «Баю-баюшки-баю, баю деточку мою... Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай...» И будто с огромной высоты стремглав упал он в мягкий ворох перин, подушек, одеял, и стало тепло, и в полусне-полуживии поплыл он по колыбельной реке, в колыбельное море, и казалось, что не было вовсе страшного Единорога, а впереди — все еще ждет, все еще манит баснословный край, исполненный сияния.

Карат залаял в голос, ожесточенно и зло. «Кого еще черт не сет?» — буркнул Матвей и пошел открывать. Карат бесился в сенах, прыгал, бил передними лапами в дверь. Матвей выглянул в окно: внизу, у крыльца, стояли трое мужчин — пожилой в лисьей шубе и с ним двое лет по сорок, высокий брюнет без шапки и толстячок с круглым лицом.

— Подождите, собаку привяжу, — крикнул Матвей.

Открыв дверь, сразу сказал:

— Если вы насчет на зиму дачу снять, то у меня не сдается.

— Нет, нет, мы по другому вопросу, — поспешил толстяк.

— По какому? — подозрительно спросил Матвей, не приглашая их в дом.

— Может быть, вы разрешите нам войти, а там и поговорим? — веско произнес старик.

Матвей пожал плечами.

— Заходите...

Долго топтались, раздевались, гурьбой проходили в комнату, наконец расселись за столом. Матвей устроился на диване и закурил.

— Прежде всего давайте знакомиться, — дружелюбно начал старик.

— Да уж, — нелюбезно отозвался хозяин, но старик сделал вид, что не заметил этого.

— Моя фамилия Никич, зовут Николаем Николаевичем. Я — физик, действительный член Академии наук СССР...

— Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, — добавил толстяк.

— Ну уж, если все перечислять, — улыбнулся академик, — то не забудьте и две Сталинские премии... А это мои друзья, ученые, помощники — доктор наук, профессор Сорокин Константин Андреевич и доктор наук Колесов Семен Борисович.

— А я — Басманов Матвей Иванович, майор ВВС в отставке, действительный инвалид СССР, — с мрачным сарказмом представился Матвей.

— Ну это мы знаем, — добродушно сказал Никич, — иначе б и не беспокоили вас. Я думаю, в прятки нам играть не стоит, начну сразу с дела, откровенно. Матвей Иванович, мы слышали о ваших опытах и хотели бы с ними познакомиться.

— Слышаны? — удивился Матвей. — Я что-то не припомню, чтоб в последние сорок лет публиковал статьи или лекции читал.

— Это верно, — с неколебимым добродушием продолжал академик. — Человек вы скромности незаурядной и к славе, судя по всему, не стремитесь. Но заслуженная слава — вещь недурная, не так ли, Матвей Иванович?

— Бюст на родине и колбасу вне очереди — кто ж откажется? — с издевкой сказал Матвей, обратившись к толстяку Колесову, и тот отвел глаза.

— Впрочем, дело, конечно, не в славе, — ничуть не смущаясь, сказал Никич, — а в науке, в знаниях. По нашим сведениям, у вас есть кое-что полезное для науки. — И, помолчав, с упором добавил: — Для нашей науки.

— Для вашей? — быстро спросил Матвей.

— Для нашей, — согласился Никич. — Для нашей, советской, нашей мировой науки.

— Ну, во-первых, — сказал Матвей наконец-то серьезно, — никаких таких сведений у вас быть не может. Если уж вы предложили говорить откровенно, то не надо мне с первых слов лапшу на уши вешать, почтенный Николай Николаевич. А на деле вот что. Я действительно ставил некоторые опыты и в самом начале работы кое-что рассказал о них приятелю, который оказался трепачом. Кроме того, я догадываюсь, что одча... женщина могла кое-что передать своим подругам, и в виде сплетен это могло ползти дальше. Но, опять-таки, эта женщина могла говорить только о самых первых опытах, — Матвей помолчал. — Об итоге работы она едва ли могла рассказать... Итог же, уважаемые физики, таков: блеф, пшик, фук с маслом. Если вы знаете суть эксперимента, то не вам объяснять, что дилетант, знающий физику только в применении к ле-

тательным аппаратам, да к тому же без основательной технической базы, не мог добиться не только успеха, но и сколько-нибудь значимых результатов. Не мог — и не добился. Вот и все. — Матвей развел руками, пожал плечами и скорчил скорбную мину. — Увы, увy! Ничем не могу быть полезен.

— Так уж и ничем? — осторожно подал голос чернявый Соркин.

— Ровным счетом ничем! — с той же юродской ухмылкой ответил Матвей.

— А эта... женщина... о которой вы помянули... это, вероятно, Людмила Алексеевна Кудрина? — глядя вбок, в стену, тихо спросил Никич.

Ухмылка сползла с лица Матвея, он понял — речь о Миле.

— Вы знакомы с ней?

— Как вам сказать, — вяло ответил Никич.

— Откровенно. Как и обещали, — зло сказал Матвей.

— Да ведь вы-то с нами вовсе не откровенны, вот в чем беда, — с нарочитой ласковостью возразил Никич.

— Вот что, гости дорогие, — с угрозой сказал Матвей. — Пока я не получу адреса Милы, я вам не скажу ни слова. Хотите разговора — давайте адрес, а не хотите... вот бог, а вот порог.

Никич по-старчески тяжело вздохнул.

— Ох, Матвей Иванович, голубчик. Полно нам комедию-то ломать. Ведь уйди мы сейчас, так пороги-то вы у нас обивать будете, все принесете, что просим. Только зачем нам эта игра? Вы уж извините, мы вас не знали, опасались, конечно, что за человек? А вы человек разумный, не маньяк — это видно. Только очень недоверчивый человек, скрытный. Но мы вам не враги, а союзники. И не беспокойтесь: ни славы, ни приоритета мы у вас не отнимем, что ваше — то ваше. Тут я вам слово даю, а я давно уже не вру, с пятьдесят четвертого года греха на душу не брал. Ну а Людмила Алексеевна ваша в четвертой психиатрической больнице...

— Что с ней?

— Утешить не могу, голубчик. Очень она плоха. Душевное расстройство, — мягко сказал старик. — Очень сильное. Так что не такой уж пшик ваши опыты, верно? Или они ни при чем?

Матвей молчал долго. Закурил еще. Гости не торопили.

— Это случилось с Милой, — сказал он наконец, — после того, как она увидела себя через семнадцать с половиной лет. Это было страшно — уродливое, безумное лицо... Я бы никогда не позволил ей подойти к Машине, но вышло так, что я сначала попробовал на себе — и ни черта не вышло. Я думал, что опыт мой не удался, что не сработала Машина, и тогда позволил Миле... ну, побаловаться, что ли...

— Разрешите посмотреть Машину? — осторожно спросил Соркин.

— Я уничтожил ее, разбил! — крикнул Матвей и в этот миг поверил себе.

— Ах ты, черт! — не удержался Колесов.

— Это не беда, — мягко сказал Никич. — Ведь главное —

принцип, схема. Уж если вы в таких условиях смогли ее сделать, то в наших мы за неделю десятков Машин соберем.

— Нет, — сказал Матвей четко.

— Почему? — удивился Никич.

— Нельзя.

— Да почему же?

— Помните, в «Борисе Годунове»: «Нельзя молиться за царя-Ирода, Богородица не велит». Вот и здесь — Богородица не велит.

Костя с Семеном испуганно переглянулись.

— Станный аргумент для выдающегося ученого. А вы бесспорно выдающийся, великий ученый, — ласково сказал академик. — Так почему же все-таки нельзя?

— Я же вам сказал, — закричал Матвей, — нельзя молиться за царя-Ирода! Эта Машина только горе людям принесет! Это страшная Машина! Машина беды, слез, смерти, безумия! Нельзя!

— Успокойтесь, Матвей Иванович, голубчик, — протянул к нему дрожащие руки старик, — что вы так-то, не надо...

— Я ничего не скажу, — упрямо сказал Матвей. — Этой Машины не должно быть. И запомните: если будете наседать на меня, я лучше помру, чтоб никто не узнал...

— Вы наивный человек, Матвей Иванович! — воскликнул Никич. — Да ведь если мы знаем, что такая Машина возможна, то уж поверьте — мы все силы бросим и откроем ее заново. А силы у нас немалые...

Матвей глядел затравленно, втянув голову в плечи.

— Более того, — продолжал Никич. — Даже если, допустим, мы сейчас по пути в город погибнем в автокатастрофе, все равно Машина будет существовать! Через десять лет, через двадцать, через пятьдесят, у нас или в США, или на каком-нибудь Таити — она все равно возникнет! Прогресс человечества нельзя остановить, а можно только притормозить. И если вы доказали, что Машина возможна, то зачем же тормозить прогресс?

— Это ужасно, ужасно, — поморщился Матвей. — Пусть будет, что будет, но я эту тварь в мир не выпущу. Лучше умру.

— Зачем же умирать, Матвей Иванович, — мягко сказал Никич. — Вы действительно выдающийся ученый, такие раз в сто лет рождаются. Вы нужны науке.

— Если блеск тысячи солнц разом вспыхнет на небе, человек станет Смертью, угрозой Земле, — процитировал Матвей, угрюмо глядя в глаза академику.

— Не надо исторических аналогий, они хромают. И Хиросима, и Чернобыль — вина людей, а не природы, не прогресса, не науки. А вы свое открытие отдаете в надежные руки. Я не о нас говорю, хотя и мы не безумцы. Я о нашем народе говорю.

— Нет, — твердо ответил Матвей.

— ...Он придет к нам, — сказал Никич, захлопнув дверцу автомобиля. — Я уверен, он одумается и придет. Не сможет не прийти. Он сейчас не в себе из-за этой женщины, а потом успокоится, и ему понадобится дело. Он же молодой еще. И придет к нам.

— Неужели ждать? — спросил Костя.

— Еще чего! Шума подымать не будем, я оформлю закрытую

тому, под нее создадим спецлабораторию — и за дело. Подбирайте, братцы, людей. Лучших. Со всего Союза. Немедленно.

— А может, все-таки блеф? — спросил Семен.

— Не исключено, — согласился академик. — Но я этому мужику поверил...

— Уж очень он странный, прямо шизоид... Глаза ненормальные...

— А ты что хочешь! — возмутился академик. — Запомни этот день, Семен. Очень может статься, что ты первый раз в жизни говорил с гением. Через триста лет его именем, может быть, города называть будут, а ты хочешь, чтоб он был как все... Дудки, так не бывает!

Ночь — его время, и он вышел из дома, встал на дорожке, запрокинул голову и долго смотрел на ясное звездное небо. Вдыхал его, вбирал в себя. Силился найти тайные знаки, знамения, но не различал их. Он вдруг подумал, что это не настоящее небо, а только черный покров между ним и людьми. Но покров старый, в дырах, и сквозь них просвечивает настоящее небо, а люди называют эти дыры звездами.

И вновь, как когда-то, ощутил он приближение угрозы. Там, на западе, скопилась неясная вязкая масса — чернее ночи — и стремительно накатывала на него. Матвею захотелось сбежать, укрыться за двумя, тремя дверями, за надежными стенами дома... Спрятаться под одеяло — в детстве там не пугали никакие страхи, там была зона абсолютной безопасности. Но он остался и скоро ощутил, как незримо окружила его вязкая масса.

И дрогнула земля, и пронесся ветер, и на миг погасли звезды, и завyla собака, и властный, неумолимый голос спросил:

— Матвей Иванов Басманов?

— Да, — ответил Матвей на это ветхозаветное обращение, и страх отпустил его.

— По своей воле будешь мне отвечать?

— По своей воле, — твердо сказал Матвей.

— Как ты осмелился пойти против меня?

— Людей жалко стало.

— Виновен! — грозно сказал Голос, и пронеслось вокруг, дробаясь и рассыпаясь, как эхо: «Виновен! Виновен!»

— Куды ж виновен-то? — неожиданно раздался шамкающий старушечий голосок. — Нешто он кого обидел? Я вон помирала, так Матвей холил меня, как не всякий родной станет...

Матвей узнал этот голос: покойница тетя Груня заступалась за него...

— Он мне, убогой, за сына был, а кто я ему — никто, считай. Он сам пострадавший, вот и к людям сочувствие имеет... Нету его вины!

— Знаешь ли ты, — продолжал неумолимый Голос, — что в этом мире положен предел человеку?

— Я в это не верил.

— И ты хотел переступить предел?

— Хотел.

— Виновен! — прогремел Голос, и снова подхватило стоустое эхо: «Виновен! Виновен!»

Но сразу два знакомых голоса смешались в один:

— Он гений! — кричал Ренат.

— Он гений! — кричал Никич.

— Он выше других людей, он неподсуден! — кричал Ренат.

— Для гения нет предела и нет вины! — вторил ему Никич.

— Знаешь ли ты, — сказал Голос, — что в мире людям даны законы?

— Они мне не нравятся.

— Знаешь ли ты, что человек не может знать будущего?

— Твой мир несправедлив! Он страшен! — закричал Матвей.

— Мой мир неизменен, — ответил Голос, и Матвею почудилась в нем усмешка.

— Нет! — опять закричал он. — Мы изменим его! Он будет, будет справедливым!

— Кто это «мы»? — с презрением спросил Голос.

— Люди! — Матвей охрип от крика.

— Люди? Ты пробовал изменить Закон, и что из этого вышло?

Матвей поник.

— Молчишь?

Он не смог ответить.

— Виновен! Виновен! Виновен! — с нарастающей силой говорил Голос, и эхо вокруг зашумело, как буря. И вдруг сквозь гром и гул чисто пробился тоненький голос, и Матвей сжался.

— Не верь, мой дорогой, мой бирюк, не верь им. Я ни в чем не виню тебя, а значит, ты прав и ничего не бойся. Я всегда с тобой и люблю тебя...

В наступившей тишине он услышал еще один голос — дальний, улетающий.

— Не верь им, сынок, ты ни в чем не виновен...

Матвей ощутил, что вязкая темная масса исчезла, он стоял один под черным звездным небом. Ни звука, ни ветра не было в зимнем этом мире...

И внезапно, словно властная рука сдернула черный ветхий покров, а за ним, над всей землей открылось настоящее небо, нестерпимо блистающее небо из одних звезд.

...И тогда он вскочил с топчана, будто его толкнули, и долго сидел, мотая гривастой головой, тер лицо руками. Он понял этот сон, легко раскодировал его: оправдания душа ищет, вины своей не приемлет. Ах, как не хочется быть виноватым, ах, как хочется быть чистым и святым, хочется оправдать и благословить себя, хочется, значит, бежать, искать академика, все открыть ему...

— Сволочь ты, Матвей Иванов Басманов, — сказал он себе и похромал на крыльцо.

Ночь и вправду была ясная и звездная, тихая ночь, благая.

Но наяву Матвей не хотел и не ждал прощения.

А может быть, сон пророчил иное, совсем иное?

«И только и свету, что в звездной колючей неправде», — прошептал он строчку и вернулся в дом.

...Заливисто, весело лаял Карат, и Матвей увидел у крыльца Ядвигу Витольдовну.

— Добро пожаловать! Неужели опять телевизор?

— Нет, нет, не беспокойтесь, уважаемый Матвей, — ответила старуха, осторожно поднимаясь по ступенькам. — Телевизор работает прекрасно. И вот я решила поблагодарить вас за труд. Я принесла вам свой пирог. О, это особый пирог, со сливками и орехами, его научила меня делать моя мама, почти семьдесят лет тому назад, в Варшаве.

— Стоило ли беспокоиться, Ядвига Витольдовна, — засмущался Матвей.

— О, чрезвычайно стоило и непременно! С одной стороны, — говорила она, ставя пирог на стол, — вы очень заслужили награду. А с другой — я вдруг подумала, что скоро умру и вкус маминого пирога никто на свете не будет помнить. А вы человек молодой, вы проживете долго и через много лет скажете кому-нибудь: «Одна старая полька как-то угощала меня пирогом, который ее научили делать лет сто тому назад в Варшаве! Вот это был пирог так пирог!» И значит, маленький кусочек маминой жизни перейдет в двадцать первый век. Двадцать первый — подумать страшно! Ну скажете? — спросила она, глядя, как Матвей пробует пирог.

— Непременно скажу! — ответил он с набитым ртом.

— Тогда я довольна, — улыбнулась Ядвига и отщипнула от пирога. — Да, хорошо, — оценила она. — Знаете, у настоящих хозяек считается моветоном хвалить свои кушанья. Надо всегда говорить, что вышло плохо и тебе просто стыдно ставить это на стол, но ничего другого, к сожалению, нет. Я тоже так когда-то говорила. Но сейчас я скажу честно — пирог удался. Потом я как-нибудь еще раз сделаю, чтоб вы лучше запомнили и все рассказали там... Ах, уважаемый Матвей, все так быстро проходит! Я это часто слышала в юности от стариков, но, конечно, не верила им, ведь у меня были такие длинные дни! Утром я занималась с учителями французским языком и танцами, потом непременно в открытой коляске каталась по Аллеям Уяздовским, у парка Лазенки, потом были свидания в парке, потом обед у отца, и там всегда много интересных людей, потом — опять свидания, театры, балы, милые уютные суаре — так много всего! А потом действительно — все так быстро прошло: и юность, и зрелость, и семья, теперь вот старость проходит... Вы еще не замечаете?

— Нет, пожалуй. Сейчас моя жизнь тянется, как тянучка, — длинная, скучная, тягомотная, вся одинаковая...

— О, это ненадолго! Это маленькая пауза в жизни, люфт-пауза. А потом снова дни понесутся, не успеете оглянуться — двадцать первый век... Да, кстати, уважаемый Матвей, у меня к вам маленькая просьба, очень легкая...

— Бога ради! Для вас, Ядвига Витольдовна, я все, что могу, хоть трудное, хоть легкое...

— Очень легкое, — с улыбкой продолжила старуха. — Покажите мне вашу Машину.

— Машину? — удивился Матвей.

— Да, мне интересно. Уважьте любопытную старую женщину.

— Я, собственно... пожалуйста... — Он опешил и не сумел сразу отказать. — Только она на чердаке, туда лестница крутая, вам не трудно будет подняться?

— Почему же? Я еще вполне бодрая женщина, я хожу осторожно, с палкой, не падаю, — с толикой гордости ответила Ядвига.

— Идемте, — покорился Матвей.

— ...Так вот она какая, — старуха осторожно потрогала панель Машины. — Довольно простая, как телевизор... Я думала, она намного больше...

— Увы, — развел руками Матвей.

— Вот что — я хочу попробовать! Сюда садиться? — Старуха решительно указала на кресло.

— Нет, нет, нельзя! — всполошился Матвей и загородил кресло руками.

— Отчего же, уважаемый Матвей? Мне-то что угрожает? Неужели вы думаете, что я расстроюсь, если увижу это черное пятно? Я давно готова умереть, совсем не боюсь смерти и знаю, что могу умереть сегодня, завтра. Я совсем спокойно этого жду. Но вдруг я проживу еще семнадцать лет? Мне будет девяносто четыре — ведь так бывает. Тогда я буду жить немного по-другому: отремонтирую дом, буду больше следить за собой, чтоб совсем не развалиться к тому времени, обязательно куплю собаку, я ведь люблю собак, но уже три года без собаки, потому что они, бедные, так привязываются к хозяевам, а потом совсем не могут без них жить... Ну дайте, дайте, — Ядвига нетерпеливо отвела руки Матвея от кресла и села.

«А ведь правда, — подумал Матвей. — Ей-то действительно ничего не грозит. Наверняка пятно будет. Но и тут ничего страшного: может быть, и десять лет проживет, а то и шестнадцать...»

Он приладил клеммы к рукам и голове старухи и включил Машину. Стал считать код.

— Ядвига Витольдовна, тут уж честно скажите — вам семьдесят семь лет? Это нужно для вашего кода, иначе ничего не выйдет.

— Это абсолютная истина. Мне семьдесят семь лет и три месяца.

Он нажал «пуск», раздалось гудение, и на экране стали медленно проступать черты лица старухи.

— Предупреждаю, клеммы будут греться, этого не пугайтесь, даже жечь немного будет...

— Я весьма терпелива, — гордо сказала Ядвига и вдруг воскликнула с детским восторгом: — О, смотрите, это же я! Честное слово, я!

— Да, это вы, — горько сказал Матвей, вспомнив ту же радость Милы.

— А почему нечетко видно? — требовательно спросила старуха.

— Ну это же не кино, — усмехнулся Матвей.

— Жаль, — вздохнула она.

Машина гудела, изображение подрагивало, но не менялось.

— Ну а дальше? — попросила Ядвига Витольдовна.

— Кто ее знает, может, и вовсе ничего не выйдет, как у меня...

И только он сказал это, лицо на экране свернулось, смялось, будто в комок, потом комок уменьшился до точки и пропал.

Экран затянуло, как туманом, ровным серым цветом. Потом на сером замаячили неясные тени... «Ну, вот и пятно соберастся, — подумал Матвей. — Работает, гадина».

Внезапно туман исчез, будто занавес убрали, и на экране появились три лица. У Матвея по коже, от висков к ногам, волнами, одна за другой, побежали мурашки.

Необыкновенной красоты молодая женщина с тонким гордым, даже немного надменным лицом и веселыми глазами смотрела с экрана. Она слегка улыбалась, ветер развеивал ее пышные светлые волосы, на них держалась маленькая шляпка с лентами, падавшими на белое платье. Женщина сидела на каком-то диванчике, и с обеих сторон к ней прижимались дети — темно-волосая девочка лет восьми, с робкой улыбкой на умном личике и белокурый мальчик лет пяти, в белом костюмчике. Он поднял лицо на женщину и смотрел с обожанием, держа ее за руку.

— Боже! Янек! Басенька! — закричала старуха и протянула к ним сухие руки. — Дети мои, дети! Это же мои дети, мой Янек, моя Басенька, это я в тридцать лет!

Внезапно, как будто камера отъехала от людей на экране, стало видно, где они. Ядвига с детьми сидела в открытой коляске, катившей по широкой улице мимо парка.

— Это Аллеи Уяздовски! Это Лазенки! — закричала старуха. — Это Варшава! Мы никогда там не были вместе, но, значит, будем, будем, будем!

Вдруг гудение Машины стихло, и в тишине раздалось цоканье копыт.

— Я слышу! Слышите, слышите, Матвей! — Ядвига плакала и смеялась.

И тогда они услышали голос мальчика:

— Мама, а когда я вырасту взрослый, можно я каждый день на лошадке буду кататься?

— Можно, милый, — ответила мама.

— Мама, а когда я вырасту взрослый?

— Вот пройдет время, а потом еще немного времени, а потом еще чуть-чуть, и однажды настанет день, когда...

И тут коляска исчезла с экрана, но сразу появилась на нем вновь: Ядвига и Матвей видели и слышали, как удаляется она под цокот копыт, видели выющиеся волосы женщины и две детские головки, прильнувшие к ней.

— Боже, какое счастье, какое счастье! — плакала старуха, не отрывая глаз от экрана. — Я увижу моих детей, я их снова обниму!

Матвей сжал руки в кулаки, отчаянно напрягся, чтобы вновь почувствовать свою упрямую, жесткую силу: предвестие звука коснулось его. Он понял, что сейчас услышит знакомые грузные шаги.

А Ядвига Витольдовна смеялась сквозь слезы и все вглядывалась в почти неразличимую, укатившую вдаль коляску, в которой вели разговор мать и сын.

«Пора! — молил Матвей. — Пора! Иди же, иди, я вызываю тебя! Слышишь?! Иди!»

Александр ТАРАСЕНКО

ПИСЬМО УШЕЛЬЦА

Фантастический рассказ

Здравствуй, дорогой Н. Н.!

Начну свое письмо с того, что сегодня я пришел домой как обычно, в шестнадцать двадцать. Как обычно, выпил стакан холодного хлебного кваса и принял освежающий душ. Каждый день, возвратившись с работы, принимаю освежающий душ под эстрадные извержения стоящего на кафельном полу ВЭФа. Смываю все то, что успело пристать ко мне в промежутке между половиной восьмого утра и четырьмя часами дня. Пыль, пот, рукопожатия дружеские и официальные, аврал последних дней месяца, краску, мастику, кислоту... Одним словом, смываю часть жизни, отданную на благоустройство общества.

Зачем я пошел сегодня на работу? Законопослушание? Нет, в последний день можно было сделать «под зад коленом» жизни добropорядочного гражданина. Последний взгляд? Возможно... Да, пожалуй, мне захотелось еще раз (последний?) прожить третью часть суток в той обстановке, которая окружала меня в будни уже пять лет. Пять лет на одном месте — пустяк, казалось бы, но вот руки знают личный инструмент на ощупь. Я отработал сегодняшний день, будто ничего не случилось. Впрочем, пока ничего и не случилось.

Я сижу за письменным столом и пишу письмо. Волосы еще влажные, желудок переваривает импровизированный ужин. Ах, эти импровизированные ужины! Что может быть прекрасней процесса удовлетворения голода! Горбушка черного хлеба, нарезанное тонкими ломтиками сало, пара зубчиков чеснока и холодный квас — все это поглощается стоя, по мере того, как прожевывается предыдущая порция и нарезается следующая. Я пью квас из большой кружки с отбитой ручкой, а на спину с плохо вытертых волос скатываются капельки воды.

Н. Н., скоро минет год со дня нашей последней встречи. Подумать только, мы расстались под вальс снежинок. Сегодня последний день сентября, и за все это время нам некогда было даже созвониться! Помните, прощаясь, мы пожали друг другу руки и расстались друзьями, договорившись через год встретиться вновь. В наших дипломатах лежали плоды трудов уходящего года (трудов уже устаревших), а в головах зрели планы на будущий год. Тогда, помнится, был крепкий мороз, а мы сняли перчатки для рукопожатия, улыбнулись и вернулись к своим проблемам. Но вскоре единомышленники вновь соберутся, чтобы обменяться трудами, мнениями и планами, потом разъедутся и опять съедутся... И так из года в год съезжаются и разъезжаются, обмениваются и делятся, выпивают море кофе и выкуривают множество сигарет...

Извините, Н. Н., звонит телефон.

Звонил мой школьный товарищ. Интересуется, не нужны ли мне сейчас деньги более книг. Книги... Спутники жизни. Учитель. Собеседники, мнением которых дорожишь. Друзья, приятели которых добиваешься. Но вот на горизонте появляется сияющий айсберг — женщина. Тогда я продаю книги и покупаю цветы и коньяк. Красивые цветы и хороший коньяк. Устилаю цветами и поливаю коньяком свой путь к вершине айсберга. Достигнув вершины, перевожу дух. Чувствую удовлетворение данным отрезком жизни. Размягчаюсь под прямыми лучами солнца. Вдруг скольжу вниз и окунаюсь в отрезвляющую холодную воду. Блестящий мир на миг исчезает. Я понимаю, что теперь отрезан от него подобно отросшему сверх принятой нормы ногтю. Ноготь аккуратно подпиливали и покрывали лаком, им любовались. Он стал слишком длинным, и его обрезали. Вот так и меня... Пока я переваливаюсь через борт своего утлого суденышка, все время неотступно следующего за айсбергом, ледяная глыба уже успевает отдалиться на значительное расстояние. Теперь она уже не кажется мне такой внушительной и сияющей. Неожиданно начинает проявляться ее подводная часть — огромная, не столько видимая, сколько угадываемая. Мне становится тоскливо и одиноко. Вот, думаю, вот то неизвестное, что я хотел узнать еще до восхождения на вершину и что порой затмевало мое кратковременное счастье колеблющейся тенью. Впрочем, говорю я себе, повернувшись спиной к айсбергу, все это уже позади. Лучше поставить кассету с «Yesterday» «Битлз», приглушить звук и почитать что-нибудь для души. Что-нибудь для души у меня всегда найдется. Нельзя же расстаться с последними, самыми любимыми книгами, даже если нет времени их перечитывать. Вот поэтому я ответил школьному товарищу отказом.

Так о чем это я? Ах, да, прошлогодняя встреча единомышленников. Сколько же было всего и всякого за этот год! Точнее, год с небольшим. Жизнь переменялась в тот июньский день, когда я позвонил Вам, Н. Н., и получил приглашение посетить столицу с «неофициальным дружественным визитом». Жизнь вдруг сорвалась с места и побежала так, что только пятки за-сверкали. Вы тогда критиковали мои работы не для того, чтобы высказать свое мнение и оставить на самотеке, нет. Вы тогда решили, что я вполне созрел — как овощ, который намереваются включить на правах необходимого компонента в творческий салат. Да, черт возьми, жизнь завертелась. Я почувствовал себя кому-то необходимым, на что-то способным. Я взялся за дело, требующее полного напряжения сил. Шесть часов сна, чашка крепкого чая с бутербродами и работа до отупения, до смертельной усталости. Таков распорядок выходного дня. В будни необходимо прежде отдать восемь часов жизни обществу и только потом заняться собой. Я отдавал третью часть суток обществу и успевал немного поработать. Жил работой. И вскоре она вытеснила из будней их серость. Стало интересно жить. Но... жить мне одному. Творческая работа, которой отдаешься полностью, невольно отчуждает тебя от окружающих. Отдаляет даже от тех, кому ты нужен сам по себе, без работы. Близкие замечают твою фанатическую преданность

любимому делу и нередко страдают от подобной преданности. Посторонние почти не замечают ее, и оттого страдаешь ты, ибо занимаешься своим делом не только из-за душевных свойств и состояния души, но и из-за несовершенства первых и умиротворенности второго у посторонних, которые почти не замечают твоих страданий и стараний... Короче говоря, с того дня в первых числах июня прошлого года по сегодняшний последний день сентября в мире ровным счетом ничего не изменилось. Ни в большом мире, ни в малом. Даже погода стоит такая же. И сейчас я опять проделаю ту процедуру, которую проделал тогда.

Новый абзац я начинаю после того, как слева от пупка появилось красное пятнышко. Неприятный для глаза след укола. Неприятное слабое жжение в месте укола. Неприятная процедура, которая ничем не отличалась от той, которую я проделал вечером в тот июньский, начала месяца, день. Без четверти семь я выключил телевизор и пошел на кухню. Тридцать единиц простого инсулина в подкожно-жировой слой живота — йо-хо-хо, и бутылка кваса! Мир вдруг распался на четыре части, объединенные в две самостоятельные и не влияющие друг на друга пары. В Москве политический обозреватель ЦТ вел первый выпуск сегодняшних мировых новостей, уделяя основное внимание внутреннему положению и внешней политике США, а здесь, на юге Украины, я стоял босыми ногами на линолеуме под дерево, прижимал проспиртованную ватку к месту инъекции и смотрел в окно, за которым независимо от положения дел в Москве, Вашингтоне и подкожно-жировом слое моего живота существовал свой мир. Мирок. На лавочках возле подъезда сидели молодые мамашы с малышами на руках, мамы молодых мамаш, их соседки и подруги. Громко разговаривая, они дружно шелкали жареные семечки и сплевывали шелуху себе под ноги. Порой раздавался нервный окрик одной из молодых мамаш или детский рев, следовавший непременно за рассерженным выговором издерганной мамашы и шлепками по мягкому месту. Женские голоса перекрывал мужской, врезавшийся в птичий гомон хлопками орлиных крыльев. Голос принадлежал человеку, который имел маленькую внучку, выпирающий живот и гордый вид хозяина этого птичника. Сейчас он докурит сигарету и двинет в соседний двор, где в компании пенсионеров «забьет козла». Самое время высыпать на стол костяшки домино, которые соберут обратно уже на следующие сутки. Самое время продолжить полировку крышки стола шершавыми ладонями пенсионеров и гладкими костяшками домино. Сейчас бросит окурки в урну, успеет подумать я, на секунду опережая мысль его действие. Он выбросил сигарету и двинул со двора. Так было, так есть, так будет. В той же последовательности происходили события почти полтора года назад, разве что тогда малыши были младенцами и не раздражали своих мамаш настоячивыми попытками исследовать необъятные просторы этого маленького мира, да обстановка в Персидском заливе была спокойней...

Как всегда, в семь я выключил телевизор, настроил приемник на короткие волны в диапазоне двадцати пяти метров и занялся ужином. Сегодня я решил уйти отсюда. Из квартиры, в которой

так хорошо одному. Из мира, в котором так трудно одиноким. В холодильнике останется кое-что из продуктов. Здесь, в провинции, туговато с продуктами. Почти все, что удается произвести, отправляется в крупные центры. Остальное попадает в холодильники граждан, не имеющих желания простаивать в очередях свободное от работы время. Отключить холодильник или нет — вот в чем вопрос. Если отключен холодильник и задраены окна, значит, ожидать хозяина бесполезно. Знаю точно, что возьму с собой ключ от входной двери. Как память, например. Фетиш. И вообще, Кэтрин сказала, что я могу вернуться. Что я захочу вернуться.

Кэтрин...

Проглотив ужин, состоявший из яичницы с салом и помидорами, черного хлеба с тонким слоем сливочного масла и большой кружки холодного кваса, я продолжал излагать на бумаге мысли человека здравомыслящего и думаю о Кэтрин. Неприятное ощущение в месте инъекции исчезло, и теперь я могу застегнуть джинсы на пуговицу. Тело расслабляется — следствие ужина и мыслей о Кэтрин.

Робинзон Крузо окрестил спасенного им аборигена Пятницей по той причине, что в пятницу избавил его от съедения канибалами. Я встретил Кэтрин в подьезде — она грелась у змеевика батареи — и предложил погреться в моей квартире горячим чаем. Она согласилась, вошла в обитель холостяка и увидела на диван-кровать открытый на иллюстрации-вставке роман «Прощай, оружие!». Уходя, я оставил его открытым на иллюстрации, изображающей сестру милосердия Кэтрин Баркли. Когда я вошел в комнату, барышня, подперев голову руками, рассматривала будущую жену лейтенанта Генри глазами художника О. Верейского.

Я присел у ног барышни и посмотрел ей в лицо. Невольно воскликнул:

— Черт возьми! Кэтрин...

— Кэтрин? — Она пожала плечами. — Пусть будет Кэтрин.

Я достал из серванта два высоких узких стакана тонкого стекла с гоночными автомобилями — красивая и практическая память о первой любви — и открыл на кухне банку сока. Наполнил стаканы на три четверти березовым соком, бросил в каждый по две вишни из варенья, выдавил остатки сока из подсохшей на срезе половины лимона и добавил медицинского спирта из стограммового аптечного пузырька. Опустил в жидкость две соломки. «Что же это происходит? — подумал я. — Вот сейчас, в моей квартире, со мной, человеком здравомыслящим и общительным, но не имеющим возможности общаться?»

Так я познакомился с Кэтрин. Так я назвал ее Кэтрин.

Вы знаете, Н. Н., как редко человек придает значение своим словам. Когда его дела подтверждают ранее сказанное им же, он непременно воспользуется случаем связать слово и дело как нечто само собой разумеющееся. Сами представляете, как порой хочется быть хорошим. Честным. Справедливым. Положительным героем, короче говоря. Я не мог предполагать, чем для меня обернется мое приглашение ей заходить в любое время

суток. Почему я так сказал? Может быть, оттого, что, просидев у меня всего час, она вдруг поднялась и заявила, что ей пора уходить? Не знаю... Я просто сказал:

— Заходи, когда захочется. В любое время суток, ладно?

Она ничего не обещала и просила не провожать. Да черт с тобой, подумал я на пороге. Вслух сказал: «Чао, бамбино!» Каждый ходит своей тропинкой. Она скрылась с глаз моих, а я побежал дальше, туда, где мы встретились с Вами впервые за несколько лет знакомства на официальном уровне, — побежал на встречу единомышленников. По дороге припал к ручью и жадно пил. (Самое яркое впечатление в жизни — утоление жажды. Болезнь такая...) А вскоре пошли один за другим праздники: Новый год, день служивых, день женщин мира. Праздники, работа, зарплата...

Каково было бы Вам проснуться среди ночи от подсознательного чувства постороннего присутствия и увидеть сидящую на постели женщину, с которой вы всего-то выпили по бокалу однажды полгода назад? Вы улыбаетесь? А мне было не до веселья.

— Кэтрин? — Кажется, я отодвинулся к стенке. Или отпрянул.

Она растянулась на постели. Вздохнула. Вдох ее был похож на тихий стон.

— Можно мне немного поспать? Ты ждал меня, правда?

Она уснула! Не раздеваясь. Я и сам порой засыпаю одетым. Не вижу смысла стелить постель, которую через несколько часов придется убирать. Да и что стелить: белую простыню, белое покрывало? Спешите насладиться белизной мирного и сытого времени, дорогие граждане! Неприемлю также подушек и перин. Но со стороны Кэтрин было явным свинством ложиться одетой в чужую постель. Она сонным движением потянула на себя легкое покрывало, заменившее мне одеяло. И сразу же окунулась в сон. Ни «здрасте», ни «извини». Барышня без предрассудков. С этим у них там, видимо, нет проблем. Где у них? Черт возьми, не надо только приписывать молодой особе умение проходить сквозь стены. Я мог просто забыть захлопнуть дверь...

Что же ты собой представляешь, существо с жесткими волосами и губками бантиком? Откуда ты и зачем здесь? Я совсем не знаю тебя, но интуитивно доверяю. Почему? Быть может, чувствую в тебе нечто не от мира сего? Нечто... Все красивое с вуалью тайны влечет меня к себе. Чепуха! Самая что ни есть обыкновенная советская женщина. Вот я тебя сейчас поцелую...

Всю оставшуюся часть ночи я бодрствовал рядом с крепко спящей Кэтрин. Собирался ее поцеловать, но почему-то не поцеловал. На рассвете, обретя наконец веру в завтрашний день, я задремал. Не могу знать своей дальнейшей судьбы, но предполагаю, что в то утро я последний раз уснул со спокойной душой. Самая что ни есть обыкновенная...

Вскоре я понял, что обманываю себя.

Впрочем, обманывать себя — дело привычное. Другое дело, когда тебя не посвящают. Просто приходят, одаряют лаской и, получив ответную, уходят без прощальных слов. Только поцелуют, скользнут в ванную и не вернутся. А я лежу в постели

с открытыми в зашторенную темноту глазами, курю и стараюсь ни о чем не думать. Если отбросить человеческую гордость и не вспоминать о неоконченной рукописи во втором ящике письменного стола, можно сказать, что, в принципе, я не так уж плохо устроился. Скорее даже неплохо. Не каждый имеет такую Кэтрин. Жизнь прекрасна!

Вот только вспыхивающий в ночи огонек сигареты напоминает мне о том, что дела вовсе не так хороши. И даже вовсе плохи. Труба дело. Все равно как саркастический голос с задних рядов, подпускающий дегтя в мед общего согласия на собрания.

Пятьдесят три дня прожил без сигарет. Почувствовал вкус свежего воздуха, запах весны. В ту ночь сорвался. Распечатал пачку ленинградского «Мальборо», которую из принципа держал нераспечатанной. Закурил. И потом курил «Мальборо» в каждый визит Кэтрин. Пачки хватило ненадолго — Кэтрин зачастила с визитами. Майские праздники мы встретили вдвоем. Через месяц отметили мое двадцатипятилетие. Четверть столетия и половина жизни. Полжизни — ничего не сделано. Таковую дату следовало отметить подобающим образом. Собрались друзья. Подняли бокалы в честь новорожденного. Торжественная часть длилась недолго. Гитара, которую я держу для умеющих играть на этом сплывающем компанию инструменте, прервала нежным плачем голоса ораторов. Гитара напоминала всем, что на свете существует что-то более ценное, чем двадцатипятилетие, отмеряющее для больного человека половину жизни. Гитара пошла по кругу. Гитару мы все любим — даже если не можем ничего исторгнуть из ее струнной души. Интересно, подумал я тогда, любит ли Кэтрин гитару? И какие песни любит Кэтрин?

В одиннадцатом часу, когда уже стемнело, гости стали прощаться. Говорили, что все было хорошо, что я отличный парень и что мне пора жениться. Да, да, говорил я, всего хорошего. Спокойной ночи. Будьте здоровы! Непременно. В следующий раз, конечно же, у вас, дорогие и любимые мои... м-м... чмок!

Я поставил в сервант чайный сервиз, вымытый женщинами перед уходом, и выскочил во двор с мусорным ведром. Высыпав мусор в бак, остановился у распахнутых дверей подъезда. Я стоял один: курил и смотрел на звезды. Облачко сигаретного дыма охватило никотиновой туманностью несколько звездочек на темном-темном небе. Вон там — или нет, вон там, возле той звезды, живет Кэтрин. Ходит босыми ногами по щиколотки в плазме, шевелит короткими пальчиками в плазменных струях, вылавливая там маленькие сгустки вещества с чудовищной температурой, и думает о гуманоиде, который сейчас стоит у подъезда безликой многоэтажки, построенной двадцать лет назад в районе Млечного Пути, на Земле, и грезит о маленьких, с розовыми ноготками пальчиках Кэтрин. Сейчас Кэтрин выйдет из плазменной заводи и окунется в межзвездный холод. Усладив тело контрастной ванной, ринется вниз по незримому лучу, проложенному моим взглядом от Земли к вон той звездочке. Она будет скользить к Земле с головокружительной вы-

соты, оставляя во Вселенной вскипающий след. За мгновения своего пути Кэтрин невольно создаст еще одну черную дыру, взорвет сверхновую и приведет в бешенство утихшие магнитные бури. Она ничего не заметит, ибо будет скользить с закрытыми глазами и замершим сознанием. А я буду ждать ее, заволакивая звезды облачком сигаретного дыма...

Было хорошо. Только не было Кэтрин. Ее отсутствие обостряло мое одиночество. Одиночество нахлынуло за пять минут до прихода гостей, когда я расставил приборы на столе. Одиночество подкралось после ухода гостей, когда я докуривал сигарету во дворе. Надо было возвращаться в квартиру, в которой уже ликвидированы следы посещения друзей. Друзья приходят столь редко, что каждый их визит можно назвать Посещением. Квартира уже проветрилась после их шумного посещения. Надо вернуться в нее и завалиться спать.

Тут я услышал мужские голоса. Приглядевшись, различил в разбавленном светом окон мраке их обладателей. Знаете, эти баловни судьбы и родителей. Аккуратные стрижки, узкие брюки и галстуки, печатки. В кармане — ключи от последних марок «Жигулей». Мусор достатка. Наверняка выпившие.

Послышался смех, своим довольством напоминавший хрюканье. Наступила тишина. Тишину вспорол женский голос: «Дерьмо!» Вдруг группа молодых людей распалась. Трое стояли — трое свалились подобно кеглям. Осталась только женщина. Кэтрин! Перешагнула через одного — того, чье падение я успел увидеть, словно смотрел быстро прокручиваемую пленку, — и поспешила к подъезду. Она не видела меня. У подъезда остановилась, вскинула голову и невольно отпрянула.

— Ах, милый, чуть не столкнулись!

— К счастью. Иначе меня постигла бы их участь.

— Пустяки. Не обращай внимания. Пойдем к тебе?

— Пойдем.

Открывая дверь, спросил:

— Почему ты сегодня не появилась как обычно — вдруг?

— Сегодня нельзя.

— Почему?

— Трудно объяснить.

— Опять женские радости и печали?

— Опять.

— Ол райт, оставим это. Копайтесь сами в своих трудностях.

Знаете, Н. Н., как обычно бывает? Она не звонит по телефону или в дверной звонок. Просто вдруг появляется. Входит в комнату, будто выходила на кухню напиться воды и теперь вернулась. За несколько секунд до ее появления учащается сердцебиение, как от телефонного звонка, разорвавшего тишину ожидания, дыхание перехватывается жгутом волнения. Потом входит Кэтрин. «Привет!» — говорит она, останавливаясь на пороге и теребя ковер детскими (хотя сама далеко уже не ребенок) пальчиками. «Привет, — говорю я, расслабляясь. — Проходи».

Послушайте, Н. Н., способна ли молодая особа раскидать в стороны трех верзил так, чтобы те после падения не спешили

принять вертикальное положение? Вы считаете, не способна? Вот и я так думаю. Веселое у меня было настроение...

Ночью я стараюсь не смотреть в любимые глаза. Днем в этих коричневых зрачках отражается мир (чей?). Днем карие глаза Кэтрин сводят меня с ума. Ночью я боюсь их. Ночью я только целую их. Впрочем... я привык. К страху привыкаешь, не правда ли?

Однажды, под закрытие сезона, мы отправились цехом к морю. Я поехал единственный раз за весь сезон и чуть было не утонул. После ста граммов водки и сигареты (побочные продукты прогресса) полез в воду. Заплыл до буйка — отлично. Повернул назад и захлебнулся. Тону, захлебываюсь, на помощь не зову, говорят, даже поплыл прочь от берега. Ничего уже не соображал. Находившиеся рядом люди считали, что я наслаждаюсь жизнью, солнечным днем. Только когда я сорвал с лица солнцезащитные очки, поняли, что требуется помощь. Какой-то парень схватил меня за руку и подтолкнул к берегу. Я нащупал ногами дно и пошел к берегу самостоятельно. Так я и не узнал, кто пришел мне на помощь. Один из свидетелей этой сцены обещал передать парню просьбу «обмыть» мое спасение. За бутылкой коньяка никто не явился. Но бутылка стоит нетронутой. Это особая бутылка. Ее можно откупорить в честь Кэтрин — прекрасной незнакомки. Незнакомец вытащил меня из глубин моря, незнакомка — из глубин океана лозунгов и директив. Нет, не побегу. Ухожу без сожаления. Ухожу с холодком в душе. Вперед неизведанное. Так вперед же!

А знаете, Н. Н., что я сделаю с бутылкой марочного коньяка «Таврия»? Возьму с собой! Последняя реликвия. Ларец с костями «старых добрых времен». Пусть в бутылке преломляются лучи чужого солнца. Какое оно? Большое и голубое? Оранжевое? Или в мире Кэтрин два светила? Или ее нежная кожа предназначена противостоять роковому притяжению черной дыры, с которым не может справиться даже свет с его сумасшедшей скоростью? Быть может, Кэтрин хочет укрыться от ставшего опасным светила, которое вот-вот займет объем, очерченный орбитой ее родной планеты? Вопросы, вопросы... Кэтрин не рассказывает ничего о своей родине. Ее интересует только любовь. Луна между верхушек деревьев, шелест листьев... Напряжением мысли расплескать шампанское из фужера для нее дело обычное. Насвистывать какой-то мотивчик, так что кнопки на моей куртке нежно звенят чеканными шляпками, — обычная забава. Нарисовать вверх ногами мой портрет за пять минут, да так красиво, как на Арбате не сдюжат — просто способ развеять тоску. А вот грамматика интимной близости для нее все равно, что китайская грамота. Странная она, честное слово. Совсем иная шкала ценностей. Ценностей! Слово-то какое! Земное. Есть ли у них понятие ценностей? Трудно сказать. Знаю, что она не из мира землян. Она совсем другая. Разница в наших с ней взглядах на жизнь напоминает мне разницу во взглядах первых европейцев, ступивших на землю Америки, и коренных американцев. Показательным примером можно считать ее попытку сделать мне приятное...

Представляете, Н. Н., является однажды Кэтрин со свертком в газете. Разворачивает ее, а там гора не совсем новых деся-

тирублевки! Очень просто: взяла в моем кармане червонец и пустила через копировальную машину. У меня нет денежных долгов, но нет и денег. В размерах достаточных, чтобы не считать каждый рубль. А тут порядочная сумма в мятых банкнотах. Упаковка натуральная — в свой прошлый визит Кэтрин прихватила с журнального столика старую газету. И вот лежит теперь эта газета на полу, засыпана деньгами, и только краешек какой-то статьи выглядывает наружу. Со вздохом наклоняюсь, тяну газету за угол. Деньги рассыпаются, и я читаю название статьи: «Много ли человеку надо?» Вдруг меня прорывает смехом. Смеюсь от души. Кэтрин стоит передо мной, засунув любимые пальчики в узкие карманы вельветовых джинсов, и удивленно смотрит на меня. Я начинаю захлебываться от смеха.

— Ты, дурак, наверно? — спрашивает Кэтрин.

Я перестаю смеяться. Пожалуй, тут не до смеха. Лицо мое застывает в печали и тоске. Кэтрин, милая, неужели и ты пешка?

— Нет, я точно дурак! Иди сюда, пожалуйста.

Я прохожу по деньгам и мягко тяну ее за руку к диван-кровати. Она обижена. И не сопротивляется. Стараюсь поймать ее губы. Говорю тихо-тихо, только для нас двоих:

— Слушай меня внимательно, Кэтрин. Вон там, за окном, чужой тебе мир. Я знаю. Это мой мир, но он чужой и для меня, поэтому пусть остается за окном. Он нам не нужен. Такой серый и слякотный... Пообещаем друг другу не предавать то, что есть только у нас. Никогда не предавать, ладно? Или тебе все равно?

— Мне не все равно, — говорит Кэтрин, уткнувшись лицом в мое плечо.

Я глажу ее черные вьющиеся волосы. Пальцы застревают в них. Ее волосы имеют невероятный, дурманивший запах, не поддающийся описанию.

— Ты это сама придумала?

— Сама. — После долгого молчания вопрос губами в плечо. — Тебе не нужны деньги?

— Глупенькая. Разве они понадобятся мне в ближайшем будущем?

— Не надо, не ходи туда.

— Я хочу. Ведь там нет Цензора, верно?

— Что это такое?

— Значит, нет... Понимаешь, мне порой снится сон, в котором я послал Цензору перчатку. Тот срезал перчатке пальцы и прислал ее обратно. Вызов принят, понял я. Теперь мне нельзя расставаться со своим пером. Я сажусь за стол и пишу, пишу... Но вот за дверью слышатся медленные уверенные шаги и шорох — как будто что-то волочат по полу. Дверь открывается, и я вижу на пороге Цензора с ножницами и сетью в руках. Он криво усмехается и говорит: «У тебя, кажется, прорезались крылышки, дружище. Я придам им нужную форму!» Я вскакиваю со стула, а Цензор набрасывает на меня сеть. Неторопливо подходит и срезает одно крыло. Я пытаюсь найти в сети прореху, сделанную предыдущими жертвами Цензора, а мой па-

лач уже схватил второе крыло. Наконец-то нахожу прореху, высвобождаю руку и замахваюсь своим пером... И лишь тогда просыпаюсь. Значит, Цензора у вас нет, верно?

— Верно. Но тебя не поймут.

— Да уж...

Кэтрин старше меня, как можно предположить. Она вряд ли сможет иметь здесь ребенка. Она довольна тем, что здесь я принадлежу ей. Мы могли бы вступить в официальный брак. Или в гражданский. Нам было бы хорошо. Здесь. На Земле, за стенами моей квартиры. Но это невозможно. Невозможно познать счастье для двоих на Земле, укрывшись от Земли в стенах кооперативной квартиры. Время такое. Мир такой. Каждый индивидум где-то приписан и для чего-то предназначен. Лев Толстой пробовал протестовать, пробовал уйти от титула графа и славы писателя с мировым именем. Роберт Фишер не захотел служить Архимедовой ванной для измерения объема шахматной короны. На свете существуют две истории: с большой и малой букв. Так вот с малой, микроскопически малой буквы пишется история будней. С детства мне внушали, что малую букву необходимо дописать в большую, а для этого каждый должен быть где-то приписан и для чего-то предназначен, пусть даже для производства никому не нужного барахла.

Хочу уйти отсюда. К черту все! Хочу выспаться. Выспаться до телесной усталости. И чтобы, проснувшись, видеть море солнца и улыбок — только не море рапортующих народу средств массовой информации. Хочу уйти туда, где нет слов — лишних и необходимых; где только глаза, пальцы, губы, мысли... Оголенное сознание без вуали высокоморального человеческого сознания. Где нет научно-технических революций и жертв этих революций. Нефтяных вышек в океане и мусорных свалок. Бруклинского моста и пепелища Хиросимы. Дикторов и диктаторов... Где есть только сознание, пульсирующее в ритм пульсации местного светила. Сознание, обретенное сразу и целиком. Где есть осознание мира как единого целого. Осознание мира и себя как единого и неделимого целого. Все для всех или ничего никому. Осознание Пространства как Времени и Времени как Пространства. Где темными ночами слышны скрипы и шорохи Вселенной. Вселенная, словно уставший в долгом плавании корабль, скрипит, нет — стонет корпусом и такелажем. Фантастика... Там, где нас нет, верно?

Н. Н., говоря откровенно, Вы напоминаете мне упитанного длинношерстного кота, занятого вылавливанием из большого аквариума золотых рыбок. Я показался Вам маленькой рыбкой с пробирающимся на плавниках золотом. Вы осторожным, но ловким движением выловили меня из мутной воды большого аквариума, очистили от налипших водорослей и бросили в маленький аквариум, до отказа наполненный живительной, чистой, родниковой водой. Мир стал интересен и прекрасен — следствие насыщенности воды кислородом. Я увидел множество маленьких рыбок с золотистыми плавниками. Они не проявляли резвости и веселья. Рыбки медленно плавали, часто застывали на месте и шевелили плавниками. Интересная деталь: от шевеления плавниками вовсе не возникает ток воды. (Быть может, он слишком слаб, чтобы быть различимым?) Я подплыл ближе

к одной из рыбок. Она не реагировала на мое приближение. Я подплыл к ней морда к морде и пустил изо рта несколько пузырьков воздуха: «Товарищ!» Рыбка посмотрела на меня отсутствующим взглядом, разинула раз-другой рот: «Вы правы, наш аквариум прекрасен, наше общество идеально и здорово...» — и показала мне хвост.

И тогда через толстое стекло аквариума, искажающее вне-аквариумный мир, вплыла рыбка по имени Кэтрин. На ее плавниках и чешуйках играл отблеск пожара. Великолепное зрелище! Но отблеск пожара играл переливающимися огнями только для меня. Остальные обитатели аквариума продолжали свое глубокомысленное шевеление позолоченными плавниками и безмолвное, вялое хлопанье зубастыми на вид челюстями. Недолго думая, я спросил Кэтрин: «А я смогу вот так, через стекло?» Она скользнула по мне чешуйчатым боком и ответила: «Сможешь. Только зачем? Нам и здесь будет хорошо». Видите: будет хорошо! Мимикрируй, и тебе достанется место под солнцем.

Во время нашей короткой беседы в аквариум бултыхнулась еще одна рыбка с широко распахнутыми в мир глазами закоренелой оптимистки. Она крутанулась на месте, разглядывая окружающее пространство, и заметила нас с Кэтрин — единственных общающихся обитателей позолоченного аквариумного мира. Рыбка быстро приблизилась к нам и уже открыла было рот, но я не дал вырваться пузырькам умиления. Я вернул рыбку в действительность одной фразой: «В ухе твои товарищи!» Затем сказала Кэтрин: «Стекло. Проклятое стекло. Научи меня ломать его сопротивление». Кэтрин ответила: «Хорошо. Я приду за тобой».

Кстати, Н. Н., что Вы думаете о причине визита Кэтрин? Зачем все это: зачем опьянение последнего дня жизни приговоренных к смертной казни и этот длящийся полгода последний день жизни, этот пир во время чумы? Зачем эта связь, сравнимая с рюмкой водки и сигаретой, причитающимися приговоренным перед казнью? Зачем? Что она не имеет в родном мире? Глупости любви? Обстановки земного общества двадцатого века (страх за стальными ставнями, всеобщее отравление химическими веществами и цинизмом и пр.), благодаря которой любовь становится на вес золота? Ну вот, любви определили цену! Все, все в этом мире получило ярлык, бирку с указанием химсостава, рекомендацией к применению и ценой.

Ценой... Опять деньги! Самое очевидное и самое невероятное в человеческом общежитии. Логически вытекающее и не поддающееся разумному восприятию. Научная фантастика. Не обладая деньгами в таких размерах, которые превращают просто сумму в сбережения. Зачем их иметь? Все свое носите с собой! Завтра ожидаются осадки, не исключена война...

Темнеет. Вот уже закончилась программа «Время». В мире неспокойно. Где-то опять стреляют. Падают самолеты с атомными зарядами на борту. Крах на бирже. Очередной скандалчик с воссоединением семьи. За время программы «Время» солнце удалилось от окна моей квартиры еще дальше на запад, туда, где убитых и умерщвленных стало еще больше за время программы «Время». Каламбур. Черный юмор. Черный, как атмосфера политическая и просто атмосфера. Атмосфера накаляет-

ся, а добрых, человеколюбивых и человекоподобных пришельцев все нет. «Уж полночь близится...» Вы правы, Н. Н., фантасты в своих произведениях ни в коем случае не должны приучать читателя к мысли о необходимости вмешательства клинобородых профессоров в дела земные. Вы правы, каждый должен лично участвовать в мировой свалке за лучшее, светлое и звездное будущее человечества. Вперед к звездам, и пусть никогда не закроет их пелена атомного пепла! Я участвовал в этой борьбе. Даже сегодня делал работу, возложенную на меня государством. Теперь я решил сменить спецовку на дорожный костюм.

Сердце бьется... Сейчас появится Кэтрин, обнимет меня и спросит: «Пойдем?»

Послушайте, Н. Н., Кэтрин сказала, что я обязательно вернусь. Вы такие, сказала она. На письменном столе я оставляю чистые листы и авторучку. Если я и вернусь... Послышалось!.. Пройдет немало времени. О чем тогда писать? Неужели и тогда единственное, о чем можно писать, будет то, что видел где-то там, где нас нет? Ведь это чистые листы, на них должно писать лишь...

Явилась Кэтрин.

Сегодня ее волосы застыли черными лучами. (Странно, не правда ли? Черные лучи...) На вид они такие жесткие, а я утонул в них губами. От ее тела веет холодом. Тело облачено во все черное. Какая-то необычная одежда... Кэтрин была мне милее в черных вельветовых джинсах или юбке-шотландке. Впрочем, сейчас это не главное.

Явилась Кэтрин. Исследователь подошел к стеклянной клетке и постучал ногтем по стеклу. Белый мышонок — единственный обитатель клетки — встал на задние лапки и ткнулся носом в то место, к которому прикоснулся палец исследователя. Глаза белого мышонка посылают слабые лучи в глаза исследователя. Глаза исследователя равнодушны. Они привыкли видеть смерть таких милых белых мышат. Исследователь устал от однообразия смерти. Он отработанным движением опускает руку в клетку и касается пальцами белой шерсти. Мышонок благодарно трется шерсткой о кисть существа в красном балдахине с узкими прорезями для глаз. Исследователь переносит мышонка из клетки на лабораторный столик и берет заранее приготовленный шприц с...

Черт возьми, в пальцах Кэтрин ничего не было, когда они коснулись моих губ, но я ощутил крупную горошину и сжал инстинктивно губы. Кэтрин протолкнула горошину языком. Потом поцеловала меня. Кажется, дело сделано. Так просто и обыденно. Неожиданно просто и...

Все не о том! Я уже не ощущаю рук, не владею ими, не вижу их, однако авторучка продолжает оставлять след на бумаге. Хлынул звездный дождь. Звездные струи хлещут в окно. Звезды влетают в черный проем окна и, ударившись о подоконник, перепрыгивают на стол. Звезды гаснут на столе или в окружающей стол темноте. Они угасают в свете настольной лампы.

В темноте Вселенной пятно света от настольной лампы.

В пятне света по листу бумаги бегает авторучка.

На бумагу ложатся слова. Строка за строкой.

В пятне света гаснут звезды.
В пятне света нет меня...

Р. С. Уже одевшись, я попросил Кэтрин подождать минутку. Мы стояли у двери. И тогда я вспомнил...

Помните, Н. Н., в первый же час моего визита в столицу Вы поили меня чаем на кухне из большой чашки с двумя ручками? Вам пора было в редакцию. Вы уже опоздали. Мне было страшно неудобно. А Вы заботливо отпаивали меня с дороги часам. Потом сказали: «Мой дом — твой дом». И это было сказано через два года после нашей первой встречи, длившейся час с небольшим. Мне тогда даже нечего было ответить. Вы — единственный человек, сказавший мне это. Даже Кэтрин не сказала этих слов. Помните, Н. Н., даже Кэтрин! Каждый визит к Вам дается мне с большим напряжением — Ваша супруга ревниво оберегает время и кров своего мужа. Вот теперь уход в мир иной — туда, где мне не скажут: наш дом — твой дом. Понимаете, что я хочу сказать? «До встречи?»

Владислав ПЕТРОВ

ПОНИМАТЕЛЬ

Фантастический рассказ

В студенческие годы я подрабатывал в организации, занимавшейся художественными переводами, — корректировал подстрочники. С тех пор в голове задержалось: «Глаза у него были как у арабской лошади, запряженной в телегу». Такие глаза, наверное, были у меня, когда я уходил от Иры.

Вышел, а дождь как из ведра. И хорошо, что дождь: слезы, текущие из моих арабских глаз, смывает. Чушь, конечно, какие там слезы, но себя жалко. Хлопнул я дверью и будто что-то сломал в себе.

Я долго не решался зайти домой — топтался на лестнице и лепил улыбку. Скаун с грустными глазами приволок к жене телегу непонятой любви. Глупо и смешно.

— Устал я, — говорю прямо с порога. — Работы невпророт.

И не вру, между прочим. Мне всегда хватает работы. Пишу все: начиная с передовиц и кончая некрологами. Бывает, средненько, без души пишу, но зато сдачу материала никогда не держиваю. Редактор меня ценит, хотя и не любит.

— Я блинов напекла, — кричит жена с кухни. — Раздевайся скорее, пока не остыли.

Разделся. Поел. Теперь самое тяжкое: обязательный час общения перед вечерним фильмом. Я не хочу ей лгать и не лгать не могу. И не в Ире здесь дело. Невыносимо каждый вечер говорить про одно и то же и делать при этом заинтересованное лицо: что в магазине давали, да какое платье жена Барсукова купила, да что завтра на обед готовить. А ведь я любил ее, точно знаю — любил!

Час общения я сократил, сказал — голова болит. Жена знает: главное средство от головной боли для меня — душ.

Заперся, открыл воду. Сел на край ванны. Тяжко жить на свете пастушонку Пете.

Голову пришлось намочить, иначе зачем я в ванной два часа проторчал. Расчесался. Из зеркала глядит здоровенный бугай. Вот только глаза. Не нравятся мне эти глаза. Грустно-тупые глаза. Ну ладно, на сегодня налюбовался. Нарцисс...

Свет в комнате не горит. Значит, жена уже спит.

Достаю рукопись. Иду на кухню.

Если можешь не писать — не пиши. Вернее не скажешь. Однако я этому мудрому совету не следую: не писать могу, но все равно ежевечерне расцехляю машинку. Не столько по зову души, сколько из природного упрямства, остаточного рвения, как любит говорить в таких случаях ответственный секретарь нашей газеты Амиран. Рвение осталось с тех времен, когда я еще не мог не писать.

Просидел над машинкой час, не высидел ни строки, зато изрисовал с десяток листов. Точку в повести я поставил полгода назад. Можно класть в папку покрасивше — и бегом по редакциям. Но одно останавливает: каждое слово выверено, а ощущения правды нет. Как тут быть? И я ежевечерне расцехляю машинку...

Спрятал рукопись. Покурил. На сегодня все. Спать.

Засыпаю я в последнее время тяжело.

Выхожу из лифта. Редакционный коридор. Привет, привет, привет...

Отсиживаю случку. Пардон, так у нас именуются редакторские пятиминутки.

И наконец, за работу.

Пишу очерк. О человеке, у которого 21 июня сорок первого года была свадьба. А потом призыв, тяжелое ранение в первом же бою, концлагерь. В сорок четвертом во время восстания заключенных он, безоружный, бросился на пулемет. В маленьком польском городке его именем названа улица. Его сын, которого он никогда не видел, сидел вчера напротив меня вот в этой самой комнате и рассуждал о перспективе покупки «Жигулей» в импортном исполнении.

Очерк не идет. Трудно писать о герое, чей сын, скомкав рассказ о поездке на родную могилу, начинает деловито выяснять, нет ли для таких, как он, сынов героических отцов, льгот на приобретение автомобиля.

Очерк не идет. Но я знаю, что его напишу. И не потому, что строкаж сдавать надо. Стыдно не написать.

А пока откидываюсь на стуле и прикрываю глаза. Что же

все-таки со мной происходит? Почему все не так? И кто виноват в этом? Ах, как хочется найти виноватых!

И я нашел уже: виновата жена, нечуткая, непонимающая. Кто еще? На кого еще выплеснуться?

Все по-прежнему. И все не так. Как будто вдруг потеряна точка опоры. Мне кажется: недавно со мной произошло что-то очень плохое, а что — не помню.

Или я просто устал?

— Чай будешь? — спрашивает меня Шурик, с которым мы делим редакционную комнату. — Если будешь, сходи за водой.

Вечно мы препираемся из-за этой воды. Шурик походы с графином по очереди возвел в принцип, лишний раз ни за что не сходит. Это раздражает, но сейчас я даже рад, что он меня окликнул.

Выхожу с графином. В конце коридора замечаю Иру; с ней Валерия, секретарь нашего редактора.

Ира идет к нам. Она с завидным постоянством появляется в нашей комнате. Три раза в день. По ней можно проверять часы. Она приходит покурить, хотя с тем же успехом может сделать это у себя в корректорской. Мне неприятно, что и сегодня она не изменила своей привычке. Зачем ей это? А может быть, надо спросить иначе: почему я придаю этому такое значение?

Возвращаюсь, на миг замираю перед дверью. Сейчас я стану не похож на себя. И как раз потому, что мне очень хочется быть собой. Насчет телеги непонятой любви — блажь, но... Быть собой не получается.

А какой я? Где я настоящий? «Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недостижимых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог...» Это Сент-Экзюпери, «Планета людей».

А какой я? Этого вопроса достаточно, чтобы заблудиться в пространстве. А пока мы в нем ищем себя, нас настигают дела и делишки, которые еще больше все запутывают. Что остается делать? Как жить, чтобы не оказаться в офсайде? Сжать зубы и вслед за Сент-Эксом повернуть на Меркурий?

— Какой я! Я — страстный! — орет, подвывая, Шурик и тянется к Валерии.

Это первое, что я слышу и вижу, открыв дверь. Во всем десятке редакций, расположенных в нашем здании, нет, наверное, ни одной мало-мальски симпатичной особы женского пола, хотя бы раз не побывавшей у нас в комнате. Приходят они, конечно, не ко мне, а к Шурику.

— Принес воду? Давай чай заваривай! — приказывает Шурик, не выпуская талию Валерии; и снова на всю редакцию: — О, Валерия, любовь моя, выходи за меня замуж!

Ира сидит у окна, молча наблюдает за ними. Мне она кив-

нула, как постороннему. Ну и бог с ней. Сажусь за стол и пытаюсь писать.

Я никогда не сумел бы броситься на пулемет, но в концлагере, верю, в подлеца не превратился бы. Легко рассуждать об этом, постукивая одним пальцем по машинке. Особенно если не вспоминать усвоенную через синяки банальную истину: настоящую цену словам определяют только конкретные обстоятельства. Мой одноклассник Ленья Карапетян довел до гипертонического криза школьного военрука, на полном серьезе доказывая бессмысленность подвига Александра Матросова, а через девять лет погиб в Афганистане, вызвав огонь на себя.

Визг. Это Валерия обороняется от Шурика. На пол летят бумаги, стаканчик с карандашами.

Букарывается дверь. На пороге редактор.

Валерия вмиг выпархивает в коридор. Редактор — седина в бороду, бес в ребро — ревнив, как Отелло. Сейчас последуют санкции. Он выйдет, потом минут этак через пять позвонит и скажет деревянным голосом: «Александр Васильевич, зайдите ко мне». Обращение по имени-отчеству для него высшая форма иронии.

И точно: не успел Шурик привести стол в порядок, как зазвонил телефон. Шурик с ухмылкой — нет в нас почтительности к начальству — удаляется. Мы с Ирой остаемся наедине.

Она затягивается дымом по-мужски глубоко, улыбается.

— Так чего же это ты вчера испугался? — говорит она.

Я не знаю, как отвечать.

Вчера (я дежурил по номеру) у нас неожиданно слетел материал на полполосы. Я позвонил жене, чтобы рано не ждала, а тут все переигралось в обратную сторону. Индальгенция на позднюю явку была, однако, уже получена.

— Зайдешь? — спросила Ира, когда я проводил ее до дому. После развода она живет вдвоем с матерью; неделю назад мать уехала в санаторий.

— Зайду, — кивнул я.

И зашел. А вскоре позорно бежал, убоявшись назревающего адюльтера.

Ира для меня нечто вроде Прекрасной Дамы. Каждому нормальному мужику, даже если сам он в этом не признается, нужна Прекрасная Дама. Если ее нет, ее стоит выдумать. Я выдумал Иру и в этом не обманываюсь. Но адюльтер с Прекрасной Дамой — вещь противоестественная. И мне нечего сказать Ире.

— Так чего же ты вчера испугался? — повторяет она.

Хоть бы телефон зазвонил, что ли...

Ира хочет еще что-то сказать, но... входит Пониматель. Слава тебе, Пониматель, спаситель мой!

На фоне наших взаимных приветствий Ира исчезает незаметно.

Я не знаю газеты, которая не имела бы своего сумасшедшего. В «Вечерку», например, захаживает Вождь Народов Мира, а к нам вот — Пониматель. Он никогда не скажет: «Я тебя слушаю». Он скажет: «Я тебя понимаю», — наполняя это «понимаю» каким-то глубинным, реликтовым смыслом. Правильнее даже будет писать в разрядку: «п о н и м а ю».

Обычно Пониматель ждет, пока заговорит собеседник, так ему легче понимать. Но сегодня он начинает первым.

— Времени у меня в обрез, — говорит он, — а я еще не выбрал, кого оставить вместо себя. Я, конечно, вернусь, но это может случиться не скоро, а людей надо понимать постоянно. Ты справишься, если я выберу тебя?

— А куда ты собрался?

— Перечитай «Маленького принца» и все поймешь. Через несколько дней моя звездочка появится надо мной. Экзюпери очень точно описал все это.

Я хорошо отношусь к Понимателю. Для меня он нормальнее многих нормальных. Но все равно с трудом удерживаюсь от улыбки: небритый, неухоженный Пониматель мало похож на Маленького принца.

— Так справишься? — переспрашивает он.

— Мне бы прежде, чем браться за других, в себе разобраться сначала. Может быть, лучше Толя? — применяю я запрещенный прием, попросту говоря, пытаюсь спихнуть Понимателя на Толю Ножкина. Правда, я уверен: Толя на меня не обидится, они с Понимателем друзья.

— Я поговорю с ним, — тут же соглашается Пониматель; он ни с кем никогда не спорит. — Только запомни: пока не поймешь того, кто рядом, себя тебе не понять.

Возвращается Шурик. Привычно высказывается о шефе. Извлекает из стола дежурный бутерброд. Кто-то пошутил однажды, что по дороге на работу Шурик платит за провоз бутерброда, как за провоз багажа, — такой он большой. Бутерброд и в самом деле гигантский. Шурик наглядно опровергает ломоносовскую формулу: «Сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому». Еда исчезает в нем в невероятных количествах, но, мы знакомы уже пять лет, он остается все таким же вопиюще худым.

— У Ножкина сидит Пониматель. Не дай бог сюда явится, начнет мозги компостировать, — говорит Шурик с набитым ртом. — Толя с ним чуть ли не в обнимку, прямо близнецы-братья...

Когда-то, говорят, Толя Ножкин был неплохим журналистом, но с тех пор много воды утекло. Или он исписался, или семейные неурядицы его добили, но на моей памяти он не столько пишет, сколько мучает бумагу. Лишь изредка Толя преобразается. По прошлой неделе, к примеру, он выдал отличный фельетон о строительстве Дворца муз. Но в газету фельетон не попадет. Редактор сказал: «Так писать пока еще рано. Подождем». Он большой любитель ждать, наш редактор.

Обычно за свои материалы Ножкин не борется, а тут пытался возражать, но куда там!.. Шеф подрядился к нему в соавторы и три дня превращал фельетон в нечто глубокомысленно-тягомотно-бессмысленное. Толя переживал и... со всем соглашался. Что поделаешь: оказавшись в редакторском кабинете, он перестает говорить нормальным человеческим языком и вообще похож на кролика, приглашенного удавом на завтрак.

Ира утверждает, что Ножкин как личность уже исчерпался, но она же часто повторяет: «Толя — совесть редакции». И верно: Ножкин честен, как зеркало, и потому беспощаден к себе. Редакторского гнева (а гнев этот падает только на тех, кто дает слабину) он боится не из трусости, а оттого, что знает за собой грех великой гордыни и, следовательно, способность наговорить шефу таких гадостей, что лишь дверью хлопнуть останется. И куда тогда деваться ему, журналисту, потерявшему перо, но ничем иным зарабатывать себе на жизнь не умеющему? Идти в нетребовательную безгонорарную многотиражку? А дома — семья, дома — больная жена, которую приходится возить в столицу (на одних билетах разориться) на какие-то сложные процедуры.

Когда месяц назад мы отмечали сорокалетие Ножкина и, ясное дело, желали ему дожить до ста, не меньше, он тихо отвечал: «Мне бы, ребята, десятка полтора годков еще, чтобы дочь поднять, и больше ничего не надо». Я знаю: в этих словах нет позы. Он именно так и думает, именно ради этого и живет.

Хорошо знать, ради чего живешь!

А ради чего живу я?

Ради работы? Я люблю ее. Но покривлю душой, если скажу, что на ней для меня замыкается мир. Ради «вечной книги, которую я обязательно напишу» (строка из дневника пятнадцатилетней давности)? Нет, я давно уже понял, что мне не вытянуть «вечной книги». Ради будущих детей? Но сначала я заканчивал университет, потом жена институт, потом мы решили пожить, потом... Так ради чего?

Иногда найти нужный, единственно необходимый вопрос труднее, чем ответ на него. Но когда такой вопрос найден, он требует немедленного ответа, который сразу расставит все по местам.

Но ответ не находится.

И я — так бывает (но мне еще рано, рано!), когда подходишь к пределу, за которым пустота, — вдруг понимаю, чувствую кожей, что должен ответить сегодня, сейчас.

И я, повинаясь нервному срыву, — так бывает, когда подходишь к пределу, за которым пустота, — звоню жене на работу и, дождавшись, пока ее позовут, говорю:

— Я ухожу от тебя.

— Надолго? — Жена в хорошем настроении и воспринимает мои слова как шутку; одно время у нас были в ходу такие дурацкие шутки.

— Навсегда.

— Значит, к обеду не ждать?

Я не отвечаю, моя решимость растаяла. В трубке смеются сразу несколько голосов.

— У Ленки день рождения, — объясняет жена. — Она такой торт принесла!

Следует пространный рецепт.

— Я не приду сегодня домой, — говорю я, вклиниваясь между тестом и кремом.

— Командировка? Как всегда, не вовремя! Неужели, кроме тебя, загнать больше некого?! — возмущается жена.

— Да, командировка, — говорю я, презирая себя, — дней на десять. Уезжаю через два часа.

Мы говорим еще долго — о том о сем. Шурик успевает достать бутерброд и принимается за пирожное, принесенное Валерией.

Я кладу трубку. Состояние полнейшего унижения.

— Шурик, можно, я у тебя поживу немного?

— Сколько угодно, — отвечает Шурик, отправляя в рот остатки пирожного; он живет один и привык к просьбам подобного рода.

Силюсь вчитаться в начало очерка — два десятка скучно-правильных строк. Комкаю лист. Нет, сегодня я писать не способен. Выясняю у Шурика, когда можно к нему явиться, одеваюсь.

В коридоре стоит Пониматель.

— Почему же я, старый дурак, раньше... — бормочет он. — Я очень боюсь. Его звездочка тоже вот-вот... Вероятность десять к одному... Опасность велика...

Нет желания вникать в его лепет.

На улице сворачиваю к набережной. По широкому тротуару ветер гонит листья. Поворачиваюсь так, чтобы он дул в спину, — мне все равно, в какую сторону идти. Иду быстро, будто спешу куда-то, но листья обгоняют меня, стайками перелетают через парапет и парашютируют к пенной грязной воде.

К Шурику я попал затемно.

— Ты извини, — мнется он, открывая дверь, — я тебя не дождался, поужинал.

Шурик (факт общепризнанный) отлично готовит. Но мне есть не хочется, хотя от голода подташнивает. Или это от курева? Сколько я сегодня выкурил? Две пачки? Три?

— Мой руки и за стол, — приглашает Шурик. — И я, чтобы тебе скучно не было, тоже сяду.

Он садится напротив меня, прямо под большой, в черной раме фотографией матери. Она умерла в прошлом году. Незадолго до этого Шурик пристроил ее вахтером в наш, говоря официальным языком, «газетный корпус». Вся сморщенная, похожая на обезьянку, она сидела в маленькой стеклянной будочке у входа, в одиночку охраняя десяток редакций от посягательств извне. Когда в руки ей попадала наша газета, здание можно было растащить по кирпичику; но она не читала — она искала фамилию сына. Если находила, начинала промокать глаза.

В феврале сорок второго ее вывезли из Ленинграда через замерзшую Ладогу. Она стала санитаркой в больнице, где ее отвозили у дистрофии. И жила здесь долго в дощатой пристройке, и сына здесь зачала, и отсюда он пошел в школу. Получив квартиру в новом доме, она никак не могла поверить: «Неужто это нам, Шурик, такие хоромы?» Но пожить в «хоромах» ей не пришлось. Она угасла быстро, словно не желая обременять сына своей болезнью. За день до смерти в голове у нее помутилось: она металась по квартире, беспокоилась, а по-

том вдруг исчезла. Шурик всю милицию на ноги поднял, мы с ним ночь напролет по больницам звонили. А она вернулась на следующий день сама, тихая и счастливая, легла и не проснулась...

— Ты ешь, ешь, — говорит Шурик.

А есть уже, в сущности, нечего. В кастрюльке, что он поставил передо мной, а после машинально придвинул к себе, просвечивает дно.

Я по привычке пытаюсь состричь...

На работу опаздываем. В открывшиеся двери лифта видим: в конце коридора стоит, уткнувшись в стену, Валерия. Она вроде бы смеется. Подходим ближе — плачет.

— Толя умер, — говорит она.

— Кто?

— Толя умер...

Собираемся у редактора. Шеф молчит, отсутствующе перебирает бумаги на столе. Шурик, глядя перед собой, шепотом повторяет глупую фразу:

— Это как же так? Как же так, братцы?!

Толя умер от инфаркта.

— Болезнь равнодушных. Какой честный, какой порядочный был парень, — говорит шеф.

В коридоре встречается Пониматель. Необычно прямой, торжественно-печальный. Выбритый.

— Толя умер, — говорю я ему.

— Я знаю. Его звездочка взошла в два часа ночи.

— Ночью шел дождь, ты не мог видеть этого.

Затевать с ним спор — великий идиотизм, но мне трудно сдержаться. Никогда не спорящий Пониматель неожиданно тверд:

— При чем здесь дождь? Я понял это.

О, господи!

В середине дня едем к Толе домой.

Его жена безучастно сидит в углу, глаза сухие, воспаленные. Увидела нас, не заплакала. Девочка еще ничего не понимает, удивляется, почему ее не повели в садик. Берет у Шурика — и когда он успел захватить? — плитку шоколада, с шелестом разворачивает ее.

В квартире хлопочут соседи. Помогаем выносить из комнаты мебель, после бесцельно толчемся на кухне. Я стою напротив двери, вижу: сползла накладка с зеркала в прихожей. Прилаживаю ее на место, старательно убираю складки, опять снимаю, нахожу кнопки и прикрепляю, теперь уже намертво. Надо чем-то занимать себя, невозможно просто стоять и ждать.

Толю должны привезти вечером.

О какой опасности говорил вчера Пониматель? Неужели чувствовал? По ассоциации перескакиваю на кошек, которые будто бы предчувствуют землетрясение... Спрашиваю.

— В котором часу это произошло?

— Было ровно два ночи, — отвечает соседка. — Галя закричала за стеной...

Вот тебе и дар кошек!..

Темнеет.

День испаряется окончательно, и... отключается электричество. Обыкновение новостроек, помноженное на закон бутерброда. Дверь на лестницу распахнута; слышно, как соседи звонят в управление энергоснабжения, кричат: «У нас в доме покойник, а вы!..»

Привызят Толю. Вокруг машины много народа, каждый что-то советует.

Толина квартира на восьмом этаже. В лифт не войти. «Нужно ногами вперед», — говорит кто-то. Разворачиваемся. Идем по лестничным маршам. Впереди нас несут подсвечник с тремя свечами. Громадные тени на стенах. Ощущение чего-то совершенно ирреального. Мы с Шуриком несем сзади. При наклоне Толя начинает сползать, и мне приходится свободной рукой поддерживать его. Вдруг кажется: лоб его теплый. Мелькает невероятное, за пределами здравого смысла: врачи ошиблись, он спит.

Мы идем, отбрасывая громадные триединые тени. Мы идем вверх. Мы уже на третьем, на четвертом, на пятом этаже. Мы несем своего товарища. Но его смерть еще не осознана нами. Когда это случится, каждый из нас — я верю! — поймет в себе нечто, чего не понимал раньше. Я твердо верю в это.

Мы идем вверх. Мы уже на шестом, на седьмом этаже. Включается свет, бьет по глазам. И я чувствую, как одеревенело плечо, как устала рука. И я вижу заострившееся лицо, складки, натекающие к тонкой, почти как у мальчика, шее.

И я вижу: Толя Ножкин умер.

Но понимание себя не приходит.

Если умирает близкий знакомый, поневоле начинаешь вспоминать, когда ты его видел в последний раз, как он выглядел, что говорил. Но я не могу вспомнить, каким видел Толю в последний раз. Не запомнилось.

Ира сказала мне как-то: «Ты очень похож на Ножкина. Только у тебя нет опыта поражения». — «А это обязательно?» — невпопад спросил я. «Для таких, как ты, да. Вам это нужно, чтобы окончательно определиться: либо сломаться, либо утвердиться на ногах». — «И Ножкин, по-твоему, сломался?» — «Он уже исчерпался, сошел на нет...»

При воспоминании об этом разговоре я всегда испытываю не совсем понятное мне самому раздражение.

Мы опускаем Толю на застланный ковровой дорожкой топчан.

Немного спустя в подъезде крик. Из М. приехали родители Толи, с ними деревенские родственники. Утром, говорят, должен прилететь старший брат — офицер, несущий службу где-то в Сибири.

В квартире становится тесно. Уходим.

По дороге говорим о Толе. И другими — я знаю, я уверен,

я чувствую — другими глазами смотрим друг на друга. Каждый думает сейчас о себе, но думает так, что делается добрее к другим.

Я не знаю, как назвать это.

Пришли к Шурику. Поели. Сыграли в шахматы. Разговор все время возвращается к Толе.

Мне надо писать «Памяти товарища». Утром мы договорились с Амираном, что оба напишем по варианту, потом выберем лучший, либо сделаем из двух один.

Редактор отвел под некролог сто строк. Из-за этого с четвертой полосы слетел мой материал о безалкогольной свадьбе. В типографии эти сто строк должны быть завтра к полудню. Когда редактор подписывает некролог в печать, в канцелярской книге, где у нас ведется учет сданного сотрудниками строкажа, против фамилии автора появится торопливая запись: «Пам. тов. 100 стр.».

Сто строк памяти о товарище. Журналистский долг. Все правильно. Но отдашь его, и появится шанс-соблазн отгородиться от Толиной смерти, сказать себе: я сделал все, что мог. А это не так. Главное — впереди, главное — несмотря ни на что, хранить вину перед ушедшим товарищем. Суть ее проста: он — мертв, мы — живы. Пока мы будем помнить это, мы будем немного лучше, чем есть на самом деле.

Пишу — не дописывая предложений, сокращая слова. Боюсь потерять, не успеть передать то, что чувствую, что мимолетно возникнув, пока еще живет во мне.

Я пишу «Памяти товарища».

Я пишу о себе.

Мне в редакцию рано. Надо отпечатать написанное к приходу Амирана.

В стеклянной будке, положив голову на руки, дремлет одноногий инвалид, наследовавший матери Шурика. Входя, случайно грохочу громадной — металл и стекло — дверью. Страж не просыпается.

Появляется Амиран. Молча ждет, пока допечатают. Прочитав, поднимает на меня свои прозрачные глаза, говорит:

— Шефу не понравится. Но мы зайдем к нему в самый последний момент, когда менять что-нибудь будет поздно.

Без десяти двенадцать вступаем в редакторский кабинет. Шеф надевает очки. Читает. Мрачнеет.

— Мы не можем дать это. Так некрологи не пишут.

Амиран бесстрастно:

— Через пять минут некролог должен быть в цеху.

Шеф надевает очки.

— Надо переписать. Дадим в следующий номер.

Амиран, глядя в окно:

— Следующий номер юбилейный.

И верно: следующий номер юбилейный, пятидесятый для

нашей газеты. Он готов к печати давно, уже с месяц. Его содержание никак не сочетается с некрологом. Жизни — жизнево, как говорится.

Шеф снимает очки.

— Но мы не можем совсем не давать некролог. Умер наш сотрудник, наш товарищ...

— Конечно, не можем, — поддакиваю я.

Шеф надевает очки. Внимательно изучает меня (появляется ощущение, что не все пуговицы застегнуты), говорит назидательно:

— Некрологи публикуются, чтобы вызывать в людях память о человеке. Умер наш сотрудник, наш товарищ, и, значит, некролог, что вы написали, наша память о нем. Некролог — это статья, содержащая сведения о жизни и смерти человека...

Подобным образом редактор способен рассуждать бесконечно, поэтому Амиран все тем же бесстрастным тоном прерывает его:

— Если через две минуты некролог не попадет в цех, будут неприятности с типографией.

Шеф снимает очки, снова надевает, ставит, где полагается, закорючку подписи и вяло машет рукой: несите, мол.

Мы с трудом удерживаемся от смеха.

В нашей комнате импровизированное собрание. Шурик прикидывает, кто даст деньги «на Толю», в столбик пишет фамилии. Вдруг подсказывает, протягивает список.

Шестым в столбике значится Ножкин.

«Толю не вернешь, а жизнь продолжается». Я все жду, что кто-нибудь, исполнившись философичности, произнесет эти слова, но пока мои ожидания не оправдываются.

А жизнь, как бы то ни было, продолжается. И надо работать. И я пишу тот самый очерк, что должен был написаться еще при жизни Толи. Редактор сегодня осведомлялся о его судьбе. Я ответил: «У машинистки». Очерк и в самом деле сейчас печатается: я печатаю сам, доканчиваю восьмую страницу, без мудрствования и натуги. Если ничего не помешает, требуемые пятьсот строк лягут через час на стол Амирана. Каждая из них будет честна, правдива, и все же вместе взятые, они не выразят того, что я мог, но не сумел сказать.

На девятой странице входит Пониматель. Садится рядом.

— Выбора теперь нет ни у меня, ни у тебя. Моя звездочка взойдет послезавтра. Ты должен успеть подготовиться.

— Должен? Кому должен?

— Топе должен, мне должен, себе должен! — в голосе Понимателя несвойственный ему металл.

— А если моя звездочка тоже вот-вот?..

— Это случится не скоро. А «вот-вот» тебя позовут к редактору.

Заглядывает Валерия.

— К шефу!

Я недоуменно смотрю на Понимателя. Он усмехается.

Иду к редактору, не сомневаясь, что он собирается взять реванш за некролог, но нет: он вызвал меня по делу. Ему позвонили из стройтреста: на участке, где возводится Дворец муз, сегодня собрание. Мы курируем эту стройку. Мне вменяется в обязанность присутствовать, послушать и, может быть, написать. «Только без всяких ухищрений, это рядовой материал», — предупреждает меня редактор.

— Это тема Ножкина, — говорит он напоследок. Что поделашь: Толю не вернешь, а жизнь продолжается.

Возвращаюсь к себе. На столе под стеклом фотография жены, попавшая сюда в стародавние времена. Вынуть ее не поднимается рука. Была любовь... Была! И только это мешает драме обернуться фарсом.

Собрание идет своим чередом. Поднимаются люди, читают по бумажкам: цитата в начале, цитата в конце. Лица постные, о деле ни полслова. И я вспоминаю, как Ножкин пытался взбаламутить это болотце. И забываю о собрании, начинаю думать о Ножкине.

Срок пребывания человека среди живых не есть единственно его жизнь: его секундомер включается, когда мать подумает о нем, еще, может быть, не зачатом, и останавливается, лишь когда уходит последний из незабывших его. Я не помню, где моя память захватила это слово — «жизнеспособность». Оно — красиво-неясно-страшноватое — точно обозначает предмет моего рассуждения. Я — один из творцов Толиной жизнеспособности. Я делаю это небескорыстно, с надеждой, что кто-то будет творить и мою жизнеспособность. Ибо я могу смириться с краткостью своего физического существования, но не могу и не хочу мириться с абсолютным концом. Если сдать, смысла в жизни останется не больше, чем в смерти...

— Это здорово, что прислали именно вас! — за спиной знакомый голос.

Поворачиваюсь. Так и есть — но так бывает только в кино: позади, согнувшись в три погибели, стоит сын героя моего очерка. Вот уж с кем я не чаял здесь встретиться.

— Это я — по поручению управляющего, конечно, — звонил вашему редактору. Я вам верю: что бы там ни говорили, вы сможете написать про наши дела как надо.

— А как надо? Мне никто ничего не говорил.

— Да? — Он глядит на меня подозрительно, но быстро светлеет лицом, словно осознав что-то. — Если вам нужно, мы получили чешскую сантехнику. Такие нежно-голубые тона...

— Нет, мне не нужно.

— Нет?.. А итальянский кафель, бежевый такой, с поволокой?

— Нет, спасибо.

— Смотрите, а то разойдется. Между прочим, десять метров пошло на дачу самому Г. В. Хороший кафель!..

Иду домой, точнее — к Шурику. Ветер. На душе кошки скребут. Интересно, Ножкина тоже пытались купить за импортный

унитаз? Наверняка пытались. А он не продан. Но спасовал перед редактором. Нежно-голубые тона с поволокой, черт бы их побрал!.. Представляю, как он переживал. А мы его тюкали, поучали. «Кто же, мой друг, виноват? — выговорил Амиран. — Умей настоять на своем». А он не умел и на этот раз не сумел тоже. И клял себя за это, не мог не клясть. «Толя — совесть редакции...» А сердце не камень, сердце не выдержало.

К Шурику не хочется. В голове почему-то вертится: «И старый мир, как пес бездомный...» При чем здесь «старый мир»? А вот пес к месту, только у Блока, он, кажется, «безродный»...

Я решаю идти в редакцию. Мне надо подумать. По дороге я должен пройти мимо дома Иры. Когда до него остается перейти через улицу, я уже знаю, что возле подъезда остановлюсь, помедлю немного и пойду вверх по лестнице...

Я сумел уйти от Иры, не разбудив ее. Я тихо собрал вещи, бесшумно оделся, без звука закрыл за собой дверь.

Теперь, когда я сижу в редакции, приходит мысль: она не спала, она наблюдала сквозь щелки глаз, как я, путаясь в темноте, собираю одежку, и посмеивалась про себя.

Как она развеселилась, когда я попытался рассказать ей, что она — Прекрасная Дама! Она смеялась, но я смеялся громче...

Семь утра, еще темно. Открываю окно. Воздух, холодный и влажный, заползает под пиджак...

Появляется Шурик. Держится обиженно.

— Мог и предупредить, я беспокоился. Ты вернулся в лоно семьи?

— Зашел к знакомому и застрял. Извини.

— У тебя ухо в помаде. Пойди отмой.

Насчет помады, конечно, блеф. Но «отмыть» — идея. Внизу у нас имеется душ для типографских работников. Отличная вещь — душ, хорошо проясняет голову.

После душа меняю рубашку. По настоянию жены я всегда храню на работе свежую рубашку, и вот — пригодилась.

Захожу к Амирану. Он протягивает мне сегодняшний номер нашей газеты. На четвертой полосе некролог с фотографией. После ретуши Толя не похож на себя. Вторую полосу открывает материал под призывным заголовком: «Работать лучше!» Под ним подпись в рамке «А. Ножкин». «Работать лучше!» — то самое серо-буро-малиновое, что получилось из фельетона о строительстве Дворца муз. Амиран разводит руками: «Шеф приказал в один номер с некрологом...»

Половина десятого. Пора на случку.

Пятиминутки обычно продолжают у нас часами. Привычно изучаю трещину на потолке. Она почти незаметна, но если ежедневно смотреть в одну точку...

Наконец дело доходит до меня. Сообщаю о ситуации вокруг строительства Дворца, предлагаю готовить критический материал.

— Но мы только что выступили в совершенно ином ключе, — редактор тычет пальцем в сегодняшний номер. — Газета не флюгер. Мы не можем постоянно менять свое мнение.

— Даже когда предыдущее мнение ошибочно?

— Предыдущее мнение — мнение Толи. Нельзя так легко поступаться памятью умершего товарища!..

Пауза. У редактора ходят желваки на скулах; он понял, что сказал глупость, но на попятную не пойдет. Да и я не дам ему сделать это.

— А если вам позвонит Г. В. и попросит изменить свое мнение, вы тоже откажетесь?

Шеф не знает, как реагировать.

— Вы забываетесь!.. Вы... вы пьяны!..

Все прячут глаза.

— Вы убили Толю, — говорю я тихо: каждое слово — выдох.

Редактор потрясен. Он беспомощно озирается, бормочет:

— Что он говорит? Что он говорит?..

Он не может, не хочет понять, что происходит.

— Вы и такие, как вы, убили Толю, — повторяю я.

Шеф лихорадочно роется в карманах. Достает трубочку нитроглицерина.

— Выйди, — говорит мне Олег, заместитель редактора.

Я мотаю головой.

— Я прошу тебя, выйди.

Редактор дрожащей рукой извлекает таблетку. Выхожу.

Стою в коридоре уверенный: сейчас ребята скажут ему все, что думают, и тоже окажутся здесь. Но проходит минута, пять, десять — никого. Бреду к себе. Через полчаса звонит Олег и просит зайти.

У него набито народу.

— Безумству храбрых поем мы славу, — встречает меня Олег.

— Громко вы все ее пели в редакторском кабинете...

— Ты требуешь от нас массового героизма. А это явление нечастое.

— Ага, он, как тот крысолов, — добавляет Шурик. — Дудит в свою дуду и зовет нас топиться, а мы, помня, что редактор одной ногой на пенсии, топиться не хотим.

— Резонно. Каждый умирает в одиночку.

Я хочу уйти.

— За кого ты нас принимаешь?! — останавливает меня Амиран. — Если что, мы тебя в обиду не дадим. Тебе интересно, что сказал редактор, когда ты вышел?

— Что?

— Он сказал, что вы оба погорячились. Ты согласен, что ты погорячился?

— Да, я погорячился...

Шурик прыскает. И смеемся все. Цунами смеха. Обида заползает куда-то вглубь. В самом деле, чего я хотел от них? Чтобы хором объявили забастовку? Чтобы коллективную жалобу в обком накатали?

А у меня — уходя, я забыл запереть дверь — сидит Сын героя (про себя я почему-то наименовал его именно так). Сидит, закинув ногу на ногу, и читает очерк о своем отце.

— Вам никогда не говорили, что нельзя брать бумаги с чужого стола? — Мне хочется обидеть его, унижить.

Но он и не думает обижаться. Такие люди, когда надо, умеют не обижаться — этикие необижающиеся ваньки-встаньки. Он подсказывает, ровняет листы в аккуратную стопочку.

— Они лежали, и я думал... Знаете, у меня сын растет, десятиклассник. Мечтает быть похожим на деда. Нельзя ли его тоже упомянуть, в смысле — продолжатель традиций? Ему в будущем году в институт поступать, способный такой мальчик... Лишняя подпорка...

Раздражение как-то сразу уходит. Ощущение такое, будто присутствуешь на вскрытии (однажды побывал, когда писал о патологоанатоме), — и муторно, и любопытно.

— И вы будете показывать газету приемной комиссии?

— Мало ли... — он делает неопределенный жест и тут же спохватывается: — Я принес вам протокол вчерашнего собрания и выступление управляющего.

— А разве он был на собрании?

— Не был, а выступление есть.

Входит Шурик. В руках у него здоровенный кусок яблочного пирога.

— Шурик, — говорю я, — тебе не нужен чешский унитаз? Нежно-голубые тона.

Сын героя напрягся. Ни дать ни взять, спринтер перед стометровкой.

— Какой еще унитаз? — не понимает Шурик. — Хочешь штруделя отломлю? Хорошо звучит — штру-дель...

— Нужно про сына вот этого товарища написать. Молодой парень, десятиклассник, общественник. Общественник?

— Общественник, общественник! — благодарно глядя на меня, кивает Сын героя.

— Участник? — спрашивает Шурик.

— Что? Чего участник?

— Чего-нибудь.

— Он очень хороший мальчик, комсомолец, марки собирает.

Шурик подозрительно изучает меня.

— Я сейчас, — говорю я, — мне нужно по делу.

— У меня тоже есть дело, — наконец просекает ситуацию Шурик.

Но я уже успеваю выскочить в коридор.

Шурик встречает меня недобрым ворчанием. Оказывается, Сын героя подверг его жуткому прессингу, даже в туалет сопроводил. Сулил подарить английский смеситель.

Я виновато молчу. Шурик распаляется: «Что за идиота ты на меня навесил!»

Нет, Сын героя — не идиот, не примитив, убежденный, что за смеситель можно купить все и вся. Он отлично знает, что кое-где и не обломится. Но у него нет комплексов. Если бы он имел герб, на нем был бы начертан гордый девиз: «Добиваться своего!» В конце концов победитель не тот, кто получил мень-

ше щелчков, а тот, кто добился желаемого. Самолюбие, чувство собственного достоинства — понятия неконкретные, а то, что не имеет четко обозначенной цены, для него и вовсе цены не имеет. Он не хочет быть лидером, это всегда риск. Его устраивает роль шестерки. Он не трус, но на пулемет не пойдет — ни ради других, на даже ради исключительно собственной выгоды. Добьется своего тихой сапой, не высываясь. Ну а не добьется — подождет и, если очень надо, повторит попытку. И в концлагере он выживет, не став предателем. А если уж и донесет на соседа по нарам, то разве что в самом крайнем случае, когда деваться будет некуда...

Сын героя мне ясен. И потому его родство с Героем кажется противоестественным. Я не знаю, каким он был, человек, поднявшийся на пулемет, но верю: шкурничать в нашей обыденной сложно-простой жизни он не стал бы.

Я должен верить в это. И гоню прочь все сомнения. Не верить в это нельзя.

После работы едем к Толе. В семь вечера панихида. Шурик берет с собой пачку газет с некрологом — для родственников и соседей.

Нас много — редакция в полном составе.

Лестничная площадка у Толиной квартиры ярко освещена. У открытой двери стоит подполковник. По очереди пожимаем ему руку, говорим слова соболезнования.

Проходим внутрь. Пожимаем руку отцу. Старик — молодец, держится прямо, рука твердая.

Идем по узкому проходу между гробом и сидящими у стены женщинами. Толина мать уже не плачет — хрипит. Галя сидит в изголовье, молчит. Редактор наклоняется к ней, что-то убежденно говорит.

Я смотрю на Толю. Он мало изменился, только лицо стало упрямым, непреклонным. Возле рук, на саване, лежит газета с некрологом. Я ловлю себя на желании сообщить кому-нибудь, ну хотя бы стоящему в дверях подполковнику о своем авторстве.

Редактор поправляет гвоздику, склонившуюся Толе на плечо, обходит гроб. Мы идем следом. Я отвожу взгляд, чтобы не встречаться с глазами Гали.

Выходим на площадку, как по команде, достаем сигареты.

Утро. С неба сыплет снежок, первый в этом году. Мы собираемся у Толиного подъезда.

Толю будут хоронить в М. Там родовое кладбище Ножкиных. Через два часа вереница машин пристроится в кильватер автобуса с траурными полосами по бокам. Сорок километров до М. — последний путь Толи.

Нас пока немного, остальные подойдут к выносу.

— Давайте наверх, — говорит Амиран. — Может быть, надо помочь.

Но в квартире полно людей. Наша помощь не требуется.

На тумбочке в прихожей раскрытый альбом. Перелистываю его. Толя — малыш в ползунках. Толя — пионер. Толя — солдат. Толя с матерью. Толя с женой. Толя с дочкой. Толя...

!!!

Здесь говорят только шепотом, мой вскрик вызывает переполох. Из комнаты, где лежит Толя, выходит Галя. У нее красивое, слеplенное с иконы лицо и уродливые, толстые, как тумбы, ноги.

На фотографии рядом с Толей сидит, положив ему руку на плечо...

— Это Игорь, — говорит Галя. — Мы вместе жили в коммуналке.

— Они дружили? — спрашиваю я.

— Если это можно назвать дружбой... Толя ни с кем не сходилсЯ близко. Они часто спорили, Толя горячился, выходил из себя, а Игорь посмеивался, будто специально заводил его. Иногда он откровенно издевался над Толей, но Толя ничего не хотел замечать. А от меня отмахивался: дескать, Игорь сам не понимает, какой он несчастный человек. Как-то я не выдержала и сказала Игорю, чтобы он больше не приходил. Толя, узнав об этом, неделю со мной не разговаривал и тогда же вклеил в альбом эту фотографию. Кто Толю знает... знал, этому не удивитсЯ. Ты знаком с Игорем?

— Да, случайно.

— За несколько дней до... — она осекается, боясь назвать то, что уже свершилось. — Сидим ужинаем, и Толя вдруг без всякой связи говорит: «Если тебе встретится Игорь, перейди на другую сторону улицы». И все. Вопросы задавать ему было бесполезно. — Она поправляет черную косынку. — А наЗавтра после этого Игорь неожиданно пришел сюда. Он вел себя странно, говорил, что Толе не простят какую-то статью, что в тресте, за который Толя взялся, сидит мафия, прозил меня повлиять на Толю. И я, дура, когда Толя пришел с работы... Он разнервничался, раскричался. В последние дни он все время раздражался, меня совсем не слушал, а чуть что, сразу кулаком по столу и кричит, кричит на меня, а перед собой будто кого другого видит... Жалко его становилось, слов не найти...

На фотографии рядом с Толей сидит, положив ему руку на плечо, Сын героя.

Пауза затягивается.

— Ты мне ее покажешь? — спрашивает Галя.

— Кого ее?

— Ту, что он... Словом, я все знаю... Игорь... Ты не бойся, я только посмотрю...

(Той ночью Ира сказала мне: «А ведь Толя когда-то делал мне предложение». — «А ты?» — «А я испугалась. Он жил слишком сложно, будто две жизни прожить собирался». — «Испугалась — значит любила?..» Ира не ответила, она вздохнула и спрятала глаза на моем плече...)

— Покажу, — говорю я.

— Спасибо. Я пойду, мне надо быть с ним. Ты стань в дверях, кивни, если она придет.

— Хорошо.

Галя возвращается в комнату.

И почти сразу по нервам бьет музыка. Кто-то включил магнитофон.

Моцарт, «Реквием». Скоро вынос.

А мне вспоминается поездка в М. — командировка из тех, что «письмо позвало в дорогу». «Давай съезжу», — сказал я Олегу (редактор был в отпуске, и в редакции царил казачья вольница), когда Ножкин, выудив это письмо из почты, явился ко мне. «Я бы и сам, — горячился он, — но я вроде как лицо заинтересованное...»

В письме шла речь о памятнике, поставленном в М. не пришедшим с войны односельчанам. (Толя, помню, показывал фотографию: стена с именами, Вечный огонь; там, на стеле, четверо Ножкиных увековечено.) Вскоре после открытия памятника сменился директор местного совхоза. Он начал с возведения нового здания дирекции, естественно, в центре села. Во время строительства газовую магистраль перенесли в сторону, и памятник остался без Вечного огня. «Нет труб», — сказал директор пришедшей к нему депутации.

И вот я поехал. Выхожу из автобуса и вижу... Ножкина! Чудеса в решете!

— А я, — говорит он, — взял три дня без содержания. Старикам моим крышу надо помочь залатать.

Вместе идем к дирекции. Проходим мимо памятника. В чаше Вечного огня стаканчик из-под мороженого.

— Нет труб, — разводит руками директор. — Нет, и все тут!

Он собирается в город на совещание, требует от своего экономиста какую-то справку, ему не до нас. Он непробиваемо уверен в себе, мои слова отскакивают от него, как дождевики от камня.

— Я уезжаю, — говорит он. — Буду через два дня. Приезжайте, поговорим. Сейчас нет времени.

Я теряюсь. И применяю прием не самый чистый с точки зрения журналистской этики.

— Я напишу про вас. И ославлю вас, как только смогу.

— Пишите, — улыбается директор, — а я прочту и исправлюсь. Но... вы не будете писать. Хотите, довезу до города?

Он почти не ошибся. Прибывший из санаторных краев редактор — ему позвонило высокое сельскохозяйственное начальство — зарубил мой материал на корню.

А в тот день, когда мимо нас пронеслась в город директорская «Волга», Толя сказал:

— Я со сторожем совхозного склада договорился. Он отвернется, когда мы трубы потащим. Пока этот вернется (он кивнул вслед угасающему пыльному шлейфу), все закончим. Здешние ребята помогут. А сварку шабашники сделают, они тут свиначник строят. Ну, скинемся им...

Сначала собралось человек пять. Потом подошли еще. Потом народа набралось столько, что все поучаствовать смогли только символически. Было хорошо — как бывает всегда, когда много людей единодушно делают доброе дело. Толя стоял в сторонке и беззлобно ворчал на подходивших: «Где же вы раньше были?..»

Шабашники денег не взяли. Толя принес от родителей здоровенную бутылку домашнего вина, и мы — что греха таить — распили ее спаявшимися за время работы коллективом. Толя, захмелев, сказал:

— Письмо это я сам написал...

Появляются наши. Я стою в прихожей, рядом Амиран и Шурик. Нам видно, как редакция, строго соблюдая субординацию, выстраивается на лестничной площадке в колонну по одному. Впереди, понятно, редактор.

Шеф в точности повторяет вчерашнюю процедуру: наклоняется к Гале, шепчет ей на ухо, после поворачивается к гробу поправить цветы. Цветы сегодня в порядке, но он все равно проводит по ним рукой — поправил, значит. Ребята по очереди подходят к Гале, она кивает каждому, но, по-моему, никого не слышит.

Входит Ира. Я хочу, как обещал, дать знак Гале, но она уже смотрит на Иру во все глаза. Как она узнала ее? Как Пониматель — поняла?..

Ира не идет вокруг гроба, она застывает у двери. Так, чтобы видно было непреклонное лицо Толи. Она бледна, губы ее плотно сжаты. Она здесь, и она далеко. И я вижу: ничего у меня с ней не было, ничегошеньки.

Вдруг что-то происходит. Я не сразу соображаю: умолкла музыка, кассета открыла свои полчасы.

Кончилась музыка. Кончилась жизнь.

Тишина. Шелест шагов и голосов.

Шелчок. Снова реквием.

Жизнеспособность Толи Ножкина продолжается.

Входит Пониматель. Становится рядом со мной.

Выносят цветы. «Ой, Толя, Толя!..» — кричит какая-то бабка, одетая в плюшевый малахай.

Сосед — мужичок с ноготок, принявший на себя ношу распорядителя (редко когда не найдет такой мужичок), говорит: — Гроб должны нести товарищи.

Товарищи — это мы.

На повороте Олег оступается. Остальные удерживают гроб, но он наклоняется, и Толины руки, до того покойно лежавшие на груди, начинают сползать вбок; видно, что запястья прижаты друг к другу бинтом.

Связанные ради покойнического порядка руки — как подрезанные крылья зоосадовских птиц.

Выходим на улицу. Я меняю Амирана. Впереди подставляет плечо Пониматель.

На земле тонкая пленка снега. Но небо чистое, голубое. Нехолодно.

Мы проносим Толю мимо людей, столпившихся у подъезда, мимо машин, которые повезут нас в М., мимо редакторской «Волги», со скупающим шофером за рулем.

У траурного автобуса заминка, заело дверь.

Стоим, ждем. Онемела рука. За спиной плач.

Понимателю тяжело. Он дышит хрипло, отрывисто. Я моложе, мне легче. Больно режет плечо.

Пониматель поворачивает голову ко мне. Как я не заметил этого раньше: у него и у Толи одинаковое выражение на лицах — строгое, непреклонное.

Наконец задвигаем гроб в автобус. Брат Толи хочет залезть следом. Мужичок-распорядитель его останавливает.

— С гробом поедут товарищи. Родственники должны в машине.

Подполковник не спорит. Только оборачивается и бросает короткий и виноватый взгляд на строгое лицо младшего брата. — Самые близкие, пожалуйста, — просит-командует мужичок.

У Толи не было близких друзей. Самые близкие — мы. И мы — Амиран, Пониматель и я — забираемся в автобус.

Занимает свое место шофер. Включает — прогреть — мотор.

Я смотрю в окно. Вижу, как ребята толпятся у «рафика», одолженного по такому случаю у типографии; лицо Иры блее снега, с нею неладно; Амиран (он, похоже, тоже кое-что знает, наш молчаливый Амиран) выходит, берет Иру под руку. Вижу, как бьется в крике Толина мать, — ее никак не могут усадить в машину. Вижу, как, прижав к себе дочку, стоит потерянно Галя. Вижу, как некурящий редактор просит у шофера сигарету, затягивается и кашляет.

А рядом, у моих ног, лежит в деревянном ящике Толя — совесть редакции. А рядом — напротив меня — сидит Пониматель.

Автобус медленно трогается, и я вижу, как из переулка выбегает Сын героя с венком в руках. Он растерянно оглядывает готовые поехать машины и, увидев свободные места в редакторской «Волге», дергает дверцу. Пока он втискивает венок на заднее сиденье, я успеваю прочесть на ленте: «Другу Толе».

Слышу (откуда-то издали) голос Понимателя:

— Сын героя боялся Толю. Такие, как он, всегда боятся таких, как Толя. Сын героя боялся Толю и завидовал ему.

Сына героя зовут Игорем.

— Мне больше нравится, как назвал его ты. В этом есть смысл.

— Откуда ты знаешь, как я его назвал? Кто ты, Пониматель?

— Пониматель и есть, только с маленькой буквы. Это не прозвище, это — призвание.

— Телепат по призванию... Или нет, иллюзионист в маске сумасшедшего...

А рядом, у моих ног, лежит в деревянном ящике Толя — совесть редакции. Нелепый разговор, и все — нелепо.

— Ни то и ни другое, — отвечает Пониматель. — Все дело в бомбе. Нет, не в атомной, в каждом из нас спрятана бомба во сто крат ее страшнее. Помешать катастрофе может только понимание человека человеком. Потенциально к этому готовы все люди, но ждать — смерти подобно, и они, — Пониматель вдруг машет рукой вверх, в потолок автобуса, — они решают ускорить естественный эволюционный процесс. Они отби-

рают по каким-то им одним ведомым признакам группу людей и будят в них понимание.

Шизофренический бред, замешенный на благородных помыслах и безудержной фантазии, стирающий грань между откровением и прописной истиной.

— Они — зеленые человечки?

— Называй их как тебе нравится. И верь мне.

Он возвращает меня к действительности. Только ненормальный способен вести такие речи, сидя подле покойника в автобусе-катафалке. Передо мной снова тот Пониматель, которого я знаю давно, — назойливый, но безобидный чудак. Необъяснимое и необъясненное сразу отходят на второй план. Стыдно скажется, что я поддался на этот разговор.

— И много вас... понимателей? — спрашиваю я скорее по инерции и как-то разом чувствую усталость.

— Не знаю, — говорит Пониматель. — Тех понимателей, чья звездочка еще не взошла, знать не дано никому. Но многих из ушедших могу назвать: Рублев, Моцарт, Экзюпери... Есть и другие, незначительные. Мать Шурика, например.

— И к каждому из них приходили зеленые человечки?

Надо бы замолчать, перевести разговор на другое, но я... Прости меня, Толя!

— Все проще. Помнишь, мать Шурика исчезла перед самым концом? Когда пониматель понимает, что его звездочка скоро взойдет, он ищет себе преемника. Зеленые человечки лишь запустили машину, а дальше уже крутят люди.

— И тебя в пониматели тоже завербовал человек?

— Да, это случилось в сорок шестом. Мне было пятнадцать, и я только что потерял родителей. Оуновцы загнали их в дом и подожгли, а меня отшвырнули к плетню: «Смотри и запоминай!» Жить не хотелось. И тут пришел он и сказал, что его звездочка взойдет, когда наступят сумерки, а сумерки уже были близки. Просил, умолял меня — я был единственным, так сказал он, кто годился в преемники. Он был пасечник. И сделал меня понимателем и спас меня...

Он продолжает говорить — страстно, убежденно. А я понимаю (понимаю?), что так же, как он меня сейчас, сорок лет назад убеждал его пасечник. И вдруг я понимаю, что Пониматель не только назначает преемника, но, может быть, сам того не сознавая, отдает долг человеку, выдумавшему для потрясенного горем мальчишки красивую сказку.

— Я согласен, — говорю я.

А рядом лежит в деревянном ящике Толя. Прости меня, Толя! Я оказался плохим товарищем в твоей последней дороге.

— Ты не веришь мне, — огорченно мотает головой Пониматель. — Что ж, я могу тебе доказать. В свой последний день пониматель способен на все. Тебе, чтобы поверить, нужен аттракцион. Ты получишь его. Хотя я пасечнику поверил на слово...

— Я верю...

— Молчи! Видишь, впереди поворот? Сразу за ним на дорогу выбежит заяц. Смотри внимательно!

Но я — не знаю почему — оборачиваюсь. За нами кавалькада машин: «Жигули» — в них родители Толи, брат и жена с дочкой; «газик» с военным номером; неказистый, покрытый пятна-

ми шпаклевки «Москвич» с мужичком-распорядителем за рулем; машина редактора и «рафик», в котором едут ребята. Лучшее бы мне быть там, с ребятами.

— Смотри сюда! — резко разворачивает меня Пониматель,

Из лесу прямо под колеса автобуса вылетает заяц, чудом выворачивается и несется, счастливый, что остался цел, по бело-коричневой земле к кустарнику на пригорке.

Я, еще не до конца осознав происшедшее, смотрю на Понимателя.

— А теперь спрашивай, спрашивай! — говорит он.

И я, запинаясь, задаю дурацкий вопрос:

— Зайца ты... заставил?

— Нет. Я просто понял, что он выскочит.

— Почему ты выбрал меня?

— Потому что это необходимо тебе.

— Я не сгложусь...

— Сгодишься.

— Ты забыл, как сказал мне об этом впервые? Ты сам сомневался...

— Я не сомневался. Но понимателем должен был стать Толя. — Пониматель улыбается... — Сказать, о чем ты сейчас подумал?

— О чем?

— Тебе сделалось неприятно, что я держал тебя в дублерах.

— Ну почему же...

Пониматель улыбается.

Жутко, когда в тебе чувствуют то, в чем ты даже себе не хочешь признаться.

— Ты читаешь мои мысли?

— Да.

— Так было всегда?

— Нет, только сегодня. Время мое истекло, и я понял суть вещей.

— Тогда — ты бог.

— Я не бог и даже не ясновидящий. Я всего лишь понимаю вероятность событий, и чем ближе подхожу к концу, тем лучше это делаю.

— Я буду тебе неравноценной заменой. У меня не хватит терпения. Позади едет Сын героя. Ты сможешь смотреть спокойно, как он станет юродствовать на могиле?

— Этого не будет.

— Все равно. Знать его подноготную и терпеть? И таких, как он... Зло непобедимо? Ответь!

— Непобедимо добро.

— А зло?

— Все зависит от тебя.

— От меня?

— Именно от тебя. Ты выбрал себе нелегкую судьбу.

— За меня выбрал ты.

— Не будем спорить. Все поймешь после.

Дорога запетляла вверх. Темные пятна исчезли — всюду снег.

Белый снег. Голубое небо. Бело-голубой мир. Жить да жить...

А рядом в деревянном ящике лежит Толя — совесть редакции.

— Скажи, Пониматель, ты веришь, что это исходит от... людей? Ты же все понял, ты же не можешь не знать...

— Я верю, что это нужно людям, — отвечает он. — До тех пор по крайней мере, пока выбежавший на дорогу заяц будет значить для них больше простых человеческих слов.

Мы смотрим в глаза друг другу.

Машина редактора съезжает на обочину, из нее выскакивает, размахивая венком, Сын героя. Сделав виток по серпантину дороги, мы видим сверху, как он безуспешно пытается остановить попутку. Редактор из машины не вылез.

Попутки здесь в такую погоду редки. Гололед.

— Как жить мне дальше, Пониматель?

Он улыбается и молчит. Улыбается и молчит.

Въезжаем в М. Едем мимо стелы, на которой увековечены четверо Ножиных. У ее подножия шелестит Вечный огонь.

Мы с Понимателем смотрим в глаза друг другу.

Просторное сельское кладбище, где у каждой фамилии свой ряд.

Снег. Только к разверстой могиле протоптана дорожка.

В голубое — ни облачка — небо упираются корабельные сосны.

— Папочка, не умирай! Не умирай, папочка, я буду хорошо вести себя! Папочка!..

— Уведите ребенка! — надрывно кричит кто-то.

И мы засыпаем могилу.

Прощай, Толя! Я не стесняюсь слез.

Обратно возвращаемся в «рафике». Пониматель сидит впереди, рядом с шофером. Вдруг кричит:

— Стой! Стой!

Выпрыгивает наружу и бежит, скользя по обочине. Останавливается, поднимает что-то. Я догадываюсь: венок.

Шурик говорит, ни к кому не обращаясь:

— У меня деньги на книжке, от отца алименты. Мать гордая была, ни копейки не истратила. Что, если я их Гале? Будет девочке приданое, разве плохо?

— Не возьмет, — откликается Амиран. — Но если завтра ты, успокоившись, не перерешишь, попробуй уговорить.

— И уговорю. А своим детям успею еще заработать.

— Ты детей займай сначала, — говорит Валерия.

— Дурное дело — не хитрое. Ира, перестань плакать. Толя бы не одобрил. Давай поженимся и детей разведем. Жизнь-то не окончилась.

Шурику, большому ребенку разношерстной редакционной семьи, все сходит с рук. Шурик — он и есть Шурик.

А Пониматель срывает с венка ленту, аккуратно скатывает ее и кладет в карман, а венок швыряет что есть силы. И катится венок, брэнча, — я не слышу, но мне так кажется; почему-то я вдруг думаю, что он жестяной, — и катится венок, брэнча, по каменистому склону.

На въезде в город догоняем машину редактора. Ее тащит

на тросе мусоровоз. Редактор и Сын героя о чем-то мирно беседуют.

— Странно, что шеф не пересел в головную машину. Начальство все-таки... — комментирует Шурик.

— И такая мразь топчет землю!.. — думаю я о Сыне героя. Пониматель поворачивается ко мне.

— Побереги эмоции, — говорит он, не раскрывая рта. — Сына героя можно пожалеть: он умрет в колонии, забытый всеми. Статья, которую ты напишешь, сыграет в этом не последнюю роль. После нее все и закрутится. Его арестуют за хищение собственности.

— И что, он много украл?

— Он — немного. Но его хозяева выкачали из своего треста столько, что каждой музе можно построить по дворцу.

— Зачем Сын героя приходил к Гале?

— Нервы не выдержали, да и напакостить очень хотелось. Живя в одной квартире с Ножкиными, он видел однажды, как Ира утром уходила от Толи. Галя ездила к матери.

— Вот как...

— Толя считал себя виноватым перед Ирой, но виноват он был только перед самим собой. Он любил Иру до последнего дня.

— А она?

— Не знаю. Она и сама не знала.

— Толя никогда бы не бросил больную жену. И дочь, не забывая про дочь! Дочь была для него главным в жизни!

— В том-то и дело! Ира вышла замуж, уехала, и Толя поверил, что, женившись, сумеет забыть ее. А вышло наоборот: Ира скоро вернулась, и он оказался в цугцванге, любой выход заканчивался для него тупиком. Он был силен честностью и оттого — беззащитен. Сын героя знал это лучше всех.

— Сын героя — мерзавец! Его конец справедлив!

— Это страшный конец. На его могиле не будет даже фамилии, только инвентарный номер. Он считал, что живет ради сына. Сын не придет его хоронить.

— За что боролся, на то и напоролся. Яблочко от яблони...

— Ты ошибаешься. Его сын разыщет очевидцев гибели деда и напишет книгу о нем. Это будет честная книга. Так что ты с чистой совестью можешь похерить свой очерк. Он у тебя не получился. Не беспокойся: ничто не будет забыто, всем воздастся по заслугам.

— Ладно, похерю. И от редактора отобьюсь, он давно его жаждет прочесть.

— Отбиваться не придется. После вчерашнего разговора с тобой редактор написал заявление об уходе на пенсию. Не будь к нему так суров. Он несчастный, давно потерявший себя человек. Его один раз напугали в тридцать седьмом, когда забрали отца, и ему хватило. Он прожил мучительно-бесполезную жизнь. Толя простил бы его...

— Кто-то не должен прощать, чтобы такие, как Толя, оставались жить. За все надо платить.

— И все-таки Толя простил бы...

— Вряд ли. Но, возможно, понял бы.
— Мне нравится, как ты думаешь, но понимать ты будешь иначе, чем я. Ты жестче.
— Нет. Но время мое — другое.
— Я могу еще как-нибудь помочь тебе?
— Я сам. Необходимо многое понять самому.
— Тогда помоги мне ты. Побудь сегодняшний вечер со мной. Все-таки страшно...

Все едут поминать Толю, а мы прощаемся. Толя понял бы...

Выходим из машины возле редакции. Падает крупный снег. Темнеет.

— Уже скоро, — говорит Пониматель. — Тебе покажется, что я умираю, но это неправда. Это все равно, что сбросить старую оболочку... У тебя есть двушка?

— Что?!

— Двушка. Двухкопеечная монета.

— Позвонить можно из редакции.

— Мне нужно отсюда. Ты иди, я поднимусь следом.

Вхожу в лифт, а он идет к телефону-автомату в вестибюле. Двери лифта закрываются. Кажется, что сейчас, когда они откроются, я проснусь.

Но нет. Редакционный коридор. Пустой и полутемный.

Жизнь начинается заново? Я — Пониматель?

Захожу к себе. Включаю настольную лампу.

Жизнь начинается заново. Я еще не Пониматель, но я должен им стать. Это — долг. Перед Толей, чью жизнесмерть мне предстоит продолжать. Перед Героем, поднявшимся на пулемет. Перед женой — мне еще предстоит понять свою вину перед ней. Перед Шуриком — как я хочу, чтобы он не передумал завтра. Перед Понимателем. Перед Амираном, Ирой, Валерией, Галей, Олегом, перед Толиной дочкой, перед людьми, для которых пока еще — увы! — заяц, выбежавший на дорогу, значит больше простых человеческих слов.

Шаги в коридоре. Это Пониматель.

— Вот и все, — улыбается он. — Ты не огорчайся, тут нет ничего печального. Прислушайся, звезды смеются. Ну же, ну!

И я слышу тихий перезвон.

— У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. Как будто я подарил тебе целую кучу бубенцов. Прислушивайся к ним, когда будешь писать.

— Я могу не писать и писать не буду. Я пишу искренне, но пишу ложь. Я не знаю, в чем она, но она есть.

— Ты пишешь правду. Ложь была в тебе самом. Но теперь все пройдет. Почаще запрокидывай голову. Звезды не лгут. Взгляни: они смотрят на нас.

Я вглядываюсь в темное снежное небо.

— Вон, вон она, видишь — восходит, — вдруг кричит Пониматель. — Это она, она!..

Лицо его горит, глаза широко раскрыты.

— Это она... она... — повторяет он. — Верь: Моцарт не умирает, он всегда возвращается. Слепота еще не конец. Можно

выжечь глаза, но нельзя убить душу. Экзюпери вернется. Я вернусь. Она восходит, восходит...

И я вижу звезду. И около нее множество других звезд. Они перемигиваются, они смеются, как бубенчики на колпаке у мудрого и грустного шута.

Звонит телефон. Я не подхожу. Звонит долго. Умолкает. Снова звонит.

Звезда восходит над миром.

— Сними трубку, — говорит Пониматель.

Голос жены.

— Проходила мимо, смотрю — свет. Неужели, думаю, вернулся. Я внизу, меня вахтер не пускает.

— Я не...

Пониматель бьет по рычагу.

— Иди! — кричит он. Глаза его безумны.

— Иди, — просит он тихо, еле слышно. Глаза его бездонны.

— Иди... — легонько подталкивает он меня к выходу.

А звезда восходит над миром.

— Иди. Так надо. Не забывай слушать звезды. У тебя родится сын, сделай его человеком. И Моцарт не умрет... Иди!

Жена стоит в вестибюле. Жалкая, неприбранная, из-под пальто выбился ворот домашнего платья.

— Проходила мимо, смотрю — окно у тебя горит. Вдруг, думаю, вернулся... О, господи, что же я... Я... Он позвонил, сказал, тебя надо спасать. Сказал: глаза слепы, искать надо сердцем. Я не поняла... Я знаю: ты не уезжал. Я видела некролог, так мог написать один ты... Он позвонил, он просил... Я плохая жена...

Она поворачивается к выходу.

— Подожди! — я беру ее за руку. — Подожди! — говорю я ей. — У нас родится сын! — говорю я ей. — Ты прости меня! — говорю я ей. — Ты прости меня... — шепчу я безысходно.

Она плачет. Беззвучно, закусив губу.

— Глупый!.. Какой ты глупый!.. — плачет она.

Стук, как выстрел, — вахтер уронил костыль.

— Там Пониматель, — говорю я ей. — Его звездочка... слышишь, звенят бубенцы?.. Ты подожди, ты только не уходи... Я должен быть с ним... Ты только не уходи, только не уходи!..

Я не жду лифта. Я несусь вверх через три ступеньки.

Я должен быть с ним.

ОБ АВТОРАХ

ГЕОРГИЙ ВИРЕН родился в 1953 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Работает в Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию. Выступал в журналах со статьями, рецензиями и рассказами («Октябрь», «Севенер», «Сибирские огни» и других).

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ родился в 1956 году в Тбилиси. Филолог по образованию. Работает в газете «Железнодорожник Закавказья». Печатался в периодических изданиях.

АЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО родился в 1965 году в Мелитополе. Живет в родном городе, работает слесарем на одном из заводов. Рассказ «Письмо ушельца» — первая публикация молодого автора.

ВЛАДИМИР СУХОМЛИНОВ родился в 1950 году в городе Сумы Украинской ССР. Окончил Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина. Работал в печати и в комсомольских органах. В настоящее время — главный редактор журнала «Юный техник».

Все авторы впервые выступают в «Искателе».

На I, IV страницах обложки рисунки Бориса ИОНАЙТИСА
к фантастической повести «ПУТЬ ЕДИНОРОГА»

На II странице обложки рисунок Александра КАТИНА
к повести «ВСЕГО ОДНА ТРОПА...»

На III странице обложки рисунок Валерия ПАСТУХА
к фантастическому рассказу «ПОНИМАТЕЛЬ»

Под редакцией **А. ПОЛЕЩУКА** и **Е. КУЗЬМИНА**

Редактор выпуска **С. БЕЛОЗЕРОВ**

Художественный редактор **В. КУХАРУК**

Технический редактор **И. ВОРОБЬЕВА**

Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская ул., 5а
Тел. 285-80-10, 285-88-84

Сдано в набор 18.07.88 г. Подписано в печать 18.08.88. А01119.

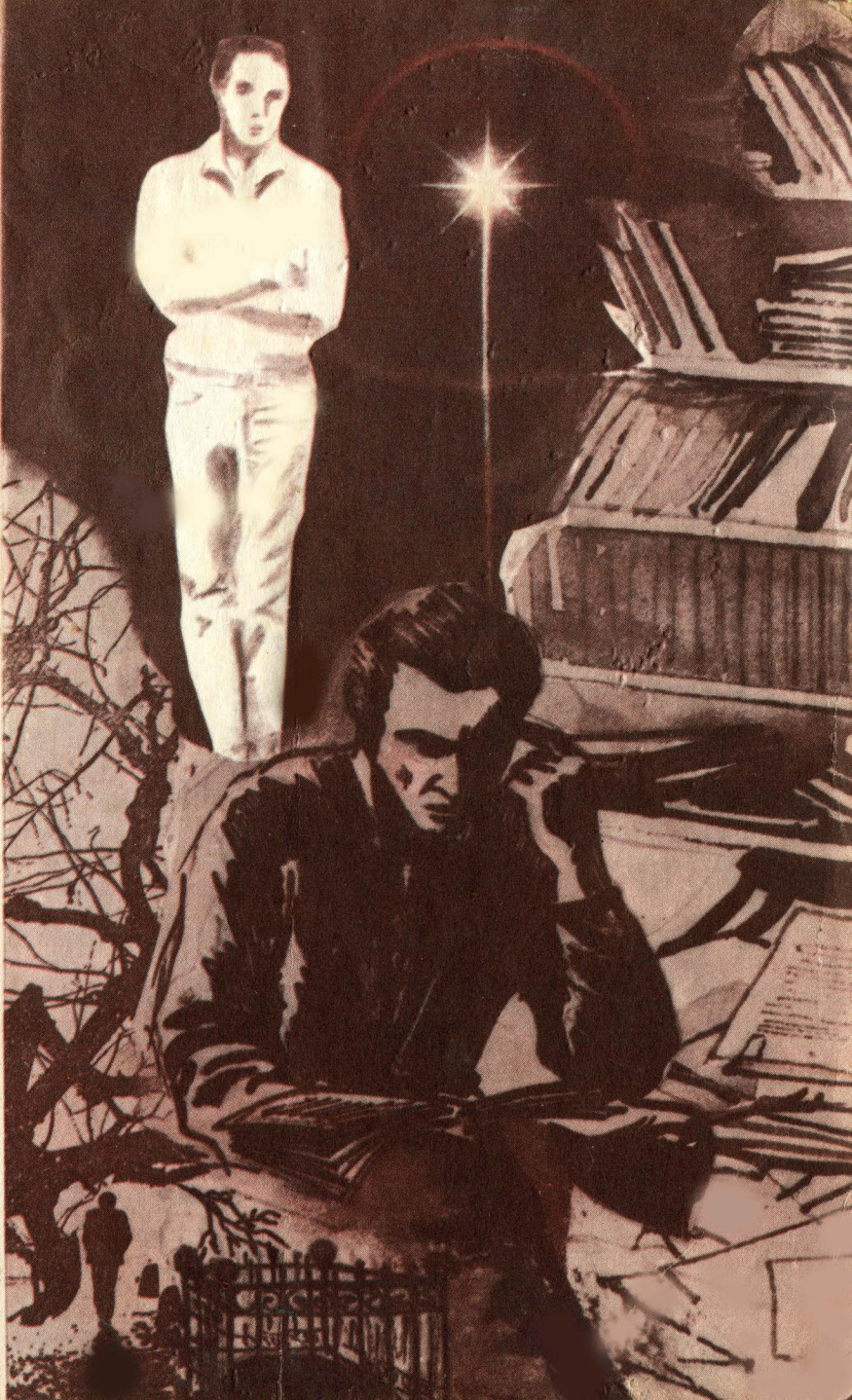
Формат 84×108^{1/32}. Бумага газетная. Печать высокая.

Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,56. Уч.-изд. л. 10,0.

Тираж 300 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 167.

© «Искатель», 1988 г.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сушевская, 21



ИСКАТЕЛЬ

Владимир СУХОМЛИНОВ
Георгий ВИРЕН
Владислав ПЕТРОВ
Александр ТАРАСЕНКО

Цена 60 коп.

